

Паpus

ЖУРНАЛ ЛЮБИТЕЛЕЙ РУССКОЙ СЛОВЕСНОСТИ

№ 90 / 2023

Журнал «Парус»

Дмитрий Игнатов

Журнал «Парус» №90, 2023 г.

«Автор»

2023

Игнатов Д. А.

Журнал «Парус» №90, 2023 г. / Д. А. Игнатов — «Автор»,
2023 — (Журнал «Парус»)

Русский литературный журнал «Парус» приглашает любителей отечественной словесности на свои электронные страницы. Академичность, органично сочетающаяся с очарованием художественного слова, — наша особенность и сознательная установка. «Парус» объединяет авторов, живущих в разных уголках России: в Москве, Ярославле, Армавире. Статус издания как «учёно-литературного» (И. С. Аксаков) определяет то, что среди авторов и редколлегии есть представители университетской среды, даже определённой — южно-русской — литературоведческой школы. Рубрики «Паруса» призваны отразить в живых лицах текущий литературный процесс: поэзию и прозу, историю литературы, критику, встречи журнала с разными культурными деятелями, диалог с читателем. В наши планы входят поиск и поддержка новых талантливых прозаиков и поэтов, критиков и литературоведов, историков и философов. Мнение редакции не всегда совпадает с мнениями авторов.

© Игнатов Д. А., 2023

© Автор, 2023

Содержание

«Слово главного редактора»	5
«Галерея»	6
Алексей КОЛЬЦОВ. Ответ на вопрос о моей жизни	6
«Художественное слово: Поэзия»	7
Ольга КУЗНЕЦОВА. «Согревающий вечность в руках...»	7
Александр КОСТЕРЕВ. «Кому рисуют свет и тень»	17
Евгений РАЗУМОВ. «Это ангелов падают тени»	22
Михаил АФОНИН. «Соломинки прожитых лет»	30
Нина ТУРЧИНА. «Я на белом холсте нарисую рассвет...»	33
Поэтические листки: Андрей СКРЫЛЬ, Даниил СЕМЁНОВ, Юрий КИТАЕВ	37
«В поисках жемчужины»	40
Александр ФОКИН. Февраль	40
Евгений ЧЕКАНОВ. Огненный вал	41
Денис ШИРОКОВ. Вот и всё...	42
«Художественное слово: Проза»	43
Евгений ЧЕКАНОВ. Отец где-то здесь	43
«Судовой журнал “Паруса”»	74
Николай СМЕРНОВ. Запись 25. Спорок с шубы	74
«Человек на земле и на море»	76
Вацлав МИХАЛЬСКИЙ. Мимоходом	76
Конец ознакомительного фрагмента.	95

**Ирина Калус, Николай Смирнов, Вацлав
Михальский, Нина Ищенко, Вячеслав
Александров, Андрей Ломовцев,
Георгий Кулишкин, Иван Марковский,
Дмитрий Игнатов, Василий Костерин,
Евгений Чеканов, Ольга Кузнецова,
Александр Костерев, Евгений Разумов,
Михаил Афонин, Нина Турчина, Андрей
Скрыль, Даниил Семёнов, Юрий Китаев,
Александр Фокин, Денис Широков,
Андрей Строков, Юрий Павлов, Виктор
Грибен, Ксения Яковлева, Михаил Попов**
Журнал «Парус» №90, 2023 г.

«Слово главного редактора»

Приветствую Вас, дорогой читатель!

Вольный ветер вдохновения вновь наполняет наш «Парус» и литературный корабль, статный и спокойный, как пробудившийся ото сна богатырь, отправляется в новый путь. Море – кипуче и бездонно, а в периоды смены дня и ночи под лучами небесных светил, пронзающих толщу воды, – оно отсвечивает бирюзовым хрусталём.

Мы – в свободной стихии, воспетой классиками.

Безбрежное творчество – обитель парящего духа – открывается тем, кто входит под благословенные своды. В пространстве этой удивительной метареальности нет ни времени, ни прочих измерений и преходящих примет сего мира. Величественные воды вечности несут бесценные дары дерзнувшему уйти от мирской суеты.

Вперёд и вверх, дорогие «путешествующие в прекрасном»! «Летучий корабль», нагруженный серебряными словами и золотом молчания, на всех парусах мчит нас к родившемуся зимой и начинающему свой таинственный рост новому солнцу.

Ирина Калус

«Галерея»

Алексей КОЛЬЦОВ. Ответ на вопрос о моей жизни

Вся жизнь моя – как сине море,
С ветрами буйными в раздоре -
Бушует, пенится, кипит,
Волнами плещет и шумит.
Уступят ветры – и оно
Сровняется, как полотно.
Иной порою, в дни ненастья,
Всё в мире душу тяготит;
Порою улыбнётся счастье,
Ответно жизнь заговорит;
Со всех сторон печаль порою
Нависнет тучей надо мною,
И, словно чёрная волна,
Душа в то время холодна;
То мигом ясная година
Опять настанет – и душа
Пьёт радость, радостью дыша!
Ей снова всё тогда прекрасно,
Тепло, спокойно, живо, ясно,
Как вод волшебное стекло, -
И горя будто не было...
17 марта 1829

«Художественное слово: Поэзия»

Ольга КУЗНЕЦОВА. «Согревающий вечность в руках...»

РАКОВИНА

Мы едем к морю. Мама щиплет
украдкой руку, чистит память,
ворчит, какой же я неряха,
и улыбается другим.
Я сплю. На длительной стоянке
мы покупаем ежевику,
играем в дурачка с какой-то
большой и радостной семьей.
Мне шесть, я верю, что на пляже
найду заветную ракушку
и постучусь в нее тихонько,
спрошу о чем-нибудь жильца.
...Жара спадает. Сохнут брызги.
Смеются чайки. Мама хочет
Побольше новых фотографий,
Поставить чтоб себе на аву,
«и пусть кусает локти, гад».
А я хочу быть рядом с нею
И эту классную ракушку.
«Мам, где моллюск?» – «Наверно, милый,
Он новый дом пошел искать».
Ночь, я не сплю. В саду цикады —
как мамин телефон, забытый
на тумбе ею. На террасе
С соседом мама пьет вино.
Закрыв глаза, я представляю
Как там, на полосе прибоя,
Пустая раковина слышит
Далекий шторм и шепот льда.

Тишина заслоняет крыльями
Наш маленький старый дом,
Где мечты покрываются пылью,
А явь покрывается льдом.

И только по-прежнему живы
Ходики на стене...
Я засыпаю счастливой,
Но все же кричу во сне.

ВЕЩИ

Через стены, через ветви,
Мотыльковый хоровод
Выметает вечным ветром
Полых лет докучный смёт.
И предметы, и приметы,
И раскраски, и рассказы,
И картинки, и иконки,
И горшки, и черепки –
В неусыпную воронку
Нерассказанной тоски.
Это надо, чтоб забыться,
Это действует всегда,
А любовь безумной птицей
Всё отводит от гнезда
Путать адрес, путать имя,
Путать запах, путать след –
Так становятся чужими,
Так и сходятся на нет.
Проступает резче, резче
Из-под пыли тьма теней –
Оттого и любят вещи,
А себя – еще сильнее.
Поврежденным сухостоем
Сквозь дома, деревья сквозь
Выметается пустое,
Где живому не жилось.

Не разожмешь ни губ, ни рук,
Пока читаешь эти письма.
Вновь обезжизненные листья
Опишут ломкий полукруг
И вновь, минуя твои сны,
Вдруг наяву к тебе вернуться,
Как опрокинутое блюдо
Немой сентябрьской луны...
Никто не правил, не марал,
Не жег, не мазал белой краской –
Да, противодвижение сказке,
Где все отлично под финал.
Но столько пролито тепла,
И горечи такая малость,
Что думаешь: да, жизнь была...
И здесь, наверное, осталась.

НЕЗАМЕТНЫЙ

Двор, зимовавшая грязь, сквозная тень голой ветлы.
Бечевки провисли, на сером белье заплатки, как лед, белы.
Мама захлопнет форточку, когда впустит кота домой,

Вполголоса заговорит, чтоб не услышал никто чужой:

«Пойми, сынок, пойми, наконец – незаметность наш крест,
Так повелел испокон веков бог этих пасмурных мест.
Бесшумней воды и ниже травы, не поднимая глаз...»
Мама, я жил за добро и за мир, но понял только сейчас:

Если ни разу не думаешь или думаешь, но не так,
Если вообще живой – значит, точно ты чей-нибудь враг.
Но до тех пор, пока не решу, на каком стоять берегу,
Я ни в кого, кроме себя, выстрелить не смогу.

Оттаявший мусор за ночь подернулся крепким льдом.
«Я здешний» звучит сегодня и с гордостью, и со стыдом.
От новостей – тревога, от водки – горькая глухота...
Не бойся, мама, я защищу и тебя, и дом, и kota.

Штопая небо, иглу отложу.
Всё сохраню. Всё расскажу.
Память прорех. Сна бахрома.
Кажется, так сходят с ума.
Битый кувшин. Сладкий кагор.
Поступь часов. Наперекор.
Бег из себя. Кто виноват?
Матушкин крест.
Знобкий закат.
Писала в тетрадке. Пела в углу.
Небо ползет. Дайте иглу.
Тонкая нить моих журавлей.
Всё сохранить – всё тяжелей.
Дочушкин взгляд.
Омут минут.
Всё ещё я
Всё ещё тут.

Оторвался – лети: тополиным пером,
Пересохшим листком и чернильной слезой.
А зажмуришься – видишь оставленный дом,
Половицы и книжки, герань и покой.
Это именно там ощущаешь в свой срок,
Что любить не хватает дыхания и сил
И чужое, чужое все то, что берёг,
А взаправду твое – только то, что дарил.
Мы приходим одни – и уходим одни,
Разве с малою толикой ваших молитв.
Точно пух, осыпаются мысли и дни —
Будет нечем прикрыться, едва зазнобит.

Оторвался – не бойся. Твой ветер не лжёт.
Помни – больше путей, чем разорванных пут.
Длится небо, как медленных перьев полет,
И стучатся в окно.
Никого не найдут.

ЧЕРЕПАХИ

Вот ползут черепахи догонять облака,
Помня медленным сердцем слабый пульс ветерка
Над пустыней и морем – точно времени ход.
Облаков не догнать. Но черепаха ползёт.
Кем-нибудь завершится изнуряющий путь
Там, где в панцирь живое не вместить, не втянуть,
Потому что не нужно. Потому что легко
Хищных птиц не бояться, холодов, дураков.
Ты прорвался сквозь спячку, и продрог, и ослаб,
Но гляди – под щитками всех узорчатых лап
Одуванчик и клевер, подорожник и сныть.
Ты не камень, творенье, обречённое жить.
Облака расползаются, и ветер иссяк.
Вот террариум с лампой отдают просто так.
Но Господь, согревающий вечность в руках,
В ней найдет уголок
и для верных Своих черепах.

Отпусти меня, Боже, в поля,
Разрешишь от себя самой,
Путь выюном да полынью стеля
До самой границы земной.
В струну разомкнется спираль,
Чуть слышная, зазвенит.
Днями становится даль
Ради тех, кто просит молитв.
Ветер катится рыжим клубком.
Август кланяется сентябрю.
Ты же, Господи, знаешь, о ком
Плачу и говорю.
Так порадуй их чем-нибудь
Да отнеси от беды,
И за каждым шагом побудь,
Даже если шаги нетверды.
Низко тучи над головой,
В пыли не видать ни зги.
Ты, пожалуйста, одного
Особенно береги:
Больше всех других горемык
Он достоин счастливейших дней,
Пусть боль его будет на миг

И не я причиною ей.

СОРОК ПЕРВЫЙ

Сорок первый пошел на круг, спит в салоне один пассажир –
Будто выбрал неверный маршрут и кружил по нему, кружил...
Эх, никак не уйти из сети многокилометровых дорог:
Просыпаться и вновь дремать под водительский матерок.

Сорок первый пошел на круг, на тоннельный мерцающий свет.
В сорок первом ушел на фронт меня не увидевший дед.
Видно, каждому свой Берлин, свой рубеж и свой перевал,
Но я думаю, он победил, чтоб никто больше не воевал.

Сорок первый пошел мне год, а не сделано ничего.
Лишь молчанье кричит в груди, словно колокол вечевой:
Вся-то жизнь на коленях – лежит перечеркнутая тетрадь:
Не создавшему ничего будет подвигом не разрушать.

Всё, приехали. Я схожу. Скоро все, должно быть, сойдем.
Под ногами обмякла пыль. Пахнет ею, чуть-чуть дождем.
Там, под пылью, мое богатство – блики звездного серебра,
Вот и бабушка машет в окно, вот и клен в глубине двора.

ВЕРБНОЕ ВОИНСТВО

Запнулись часы. Завязан рюкзак.
Позывным в ночи – дым окраинных трав.
Можно всё вместить – а можно и так
Оставить, с собой ничего не взяв.
Корешки старых книг прорастают кустом,
Теплится пух нахлынувших свеч.
Я иду и смеюсь, забывая о том,
Что встать нельзя, если прежде не лечь.
Время тихое, год непростой:
Все слезы вовнутрь, ни улыбки вовне.
Стой дозором, вербное воинство, стой,
Пусть земля выздоравливает во сне.

БАЛЛАДА

Где паучы тенёта из дебрей замшелых веков
Протянулись до нынешних дней и над ними зависли,
Жил колдун, что, играя, смешал языки родников,
Он надолго попутал слова и заветные смыслы.

И устав лепетать о своем, чтоб трещала в ответ
Пустота, – замолчали они, постепенно и каждый.
Среди мусорных чащ родниковый теряется след,
Сам колдун не найдет, а найдет – никому не покажет.

Да и речь человечья с тех пор изменилась сама,

А открыться другому – расстаться с защитной завесой.
...Но сентябрь все так же отчетливо входит в дома,
Простирая границы души до неблизкого леса.

И осмелится ключ отозваться неведомо в ком,
Против чар позовет он на помощь судьбу или случай,
Чтобы песне, понятной любому в лесу городском,
Не смолкать никогда – можжевеловой, вечной, гремячей.

РЕЖУ ВОЛКОВ

Режу волков. Не довышить мне бурых зверей.
Ржавые ножницы чует, сжимаясь, зверье.
Брошу картинку, решив, что не верить верней,
Приговорю без раздумья его и ее.

Пара в заснеженной чаще умрет от руки
И не украсит собой мой мещанский уют:
Нет постоянства – лишь ножницы есть и флажки,
Скалятся волки по-сучьи, а крестики врут.

Где-то, за волком с волчицей, мир сказочно жив,
Пляшет непуганый заяц в лесном терему,
И рука об руку, мерзлую дверь затворив,
Петр с Февронией молча уходят во тьму.

В ней происходит такое, что скачет прицел,
Тупятся ножницы, слышится мат егерей.
Но ни один идиот, хоть бы он и посмел,
Не разлучает прильнувших друг к другу зверей.

Мне говорили, сегодняшний мир не таков,
Незачем сыпать пустые кресты на канву.
Черт с ними. Может быть, я и довышью волков
Дочке своей на венчание, коль доживу.

ЧЁРНАЯ ЯГОДА

Над прерывистой линией берега
Тянет сроки дуплистое дерево,
Прикрывая листвой в солнцепёк
Воронёный блестящий зрачок,

Точно дуло, тяжёлое выстрелом.
Сроки вышли – и вот она вызрела,
Бесполезно не лезть на рожон:
Боком глянцевым – ты отражен.

Ты глядишься в нее, как любой из нас,
Но кому-нибудь станет не боязно.
Горький сок. Проступившая слизь.

Раз сорвал, то глотай и ложись...

Потаенное, необъятное
Заклубится под веками сжатыми.
Это ты. Перекраивать брось.
По себе – продирайся насквозь.

Встань, ползи – оглушённый, трепещущий.
Проницай, созерцай, перекрещивай.
Кто, испробовав ягодный сок,
От себя не бежал наутёк?

Нет – понять, задержаться и выстоять,
Чтоб поверить бездумно и искренне:
Что есть выход, что милостив суд
И что мир от войны пронесут.

...Вновь, паучьей слюной перевитая,
Пробуждение твое сторожит она.
Кто же следующим сорвёт
Немигающий глянцевого плода?

ТРЯПИЧНАЯ КУКЛА

Идешь переулком, где сыпучая старость
Согревается запахом юного лета,
А в доме ничего твоего не осталось,
Разве что кукла, полусгнившая ветошь.
Поднимись на чердак. Раскопай свою память.
Загляни в уголки, куда свету неловко,
Возьми меня в руки. Не ожгу и не раню
Позабытой кем-то подлой иголкой.
Ты не бойся, я рада, я действительно рада,
Мной давно отыграли, ничья уже дочка.
В саду цветет яблоня. К ней тебе и надо.
Схорони меня поглубже и поплачь в одиночку.
А потом уходи, ищи куклу другую –
Не вернусь, не явлюсь ни в каком уже виде.
И теплый ветер в спину подует,
И больше никто тебя не обидит.

ЛЕДОСТАВ

Замер город. Как муха в тягучем желтке,
Застывает.
Ледостав. Не заснуть. В темноте, мутной глубине, в бессонной реке
Чуть плеснула хвостом золотая
рыбка. Мороз. А Нового года не будет – зачем?
Что-то выгнав,
Пустотой площадей проплывает в цветистом луче
Тихий елочный призрак.

Лица в масках. Сам воздух бесцветен, как хлоргексидин,
Окна гаснут.
Забываться под шепот мосты задевающих льдин
Одному – безопасно.
Разве рыбка приснится и, может, поделится с кем
Этим солнцем декабрьским куцым.
Но ни морок, ни мор не прикажут великой реке
задохнуться.

ВЕТЕР ОСТАНЕТСЯ

Ветер порвал календарь.
И рассыпаны щедро
Числа и встречи – что было, что будет, что мимо.
Новые капли глотают голодные недра,
Лодочки весен несет временная стремнина.
И на секунду зажмурившись, но не от страха,
В свой новый год я вступлю. Ощутимо до дрожи:
Ветер останется —
Над семенами и прахом
Властвовать.
И возрождать.
И тревожить.

деревья и звезды
колючи
ранимы
стозвонны
деревья и звезды
вихрасты
невинны
бессонны
все так, мой малыш,
ты такими всегда их рисуешь,
и в яви живыми —
не только когда ты спишь

деревья и звезды
дрожат, как заздравные свечки
не холодно им
лишь в разумном и чутком сердечке,
где зыбок уют
и бесхитростен свет.
ну да ладно, пусть там и живут.
и, быть может, смеются
над пылью холодных лет

НЕУСПОКОЕННЫЙ

Спят на земле города, захолустья,

Рельсы и травы, коты и мосты...
Все, что терзает, – когда-то отпустит,
Так не тревожься и ты.

Иль заворочалась сонная совесть
Шилом в грудинном мешке?
Неуспокоенный, не успокоясь,
Трудно идти налегке.

Иль в голове полоумные птицы
С воплем на сто голосов?
Поберегите же, пусть он продлится —
Пульс бестревожных часов.

Ночью навалятся душные страхи,
Днем отвлечет суета...
Но молятся воины, бьются монахи,
Плачут морщинки шута.

Если покажется – нету защиты,
В самом родном померещится враг —
Нас не оставят, и мы не одни тут,
Можешь не верить, но так.

Ты отломи мне от лунной краюшки
Света и сказочных снов,
Я положу тебе рядом с подушкой
Старый Псалтирь и золофт.

Завтра наступит, боишься ли, нет ли —
Новым звеном бесконечной цепи...
Пусть будет сон твой и мирным, и светлым,
Неуспокоенный, спи.

ТИХИЙ ОГОНЬ

Корпия сонного снега.
Студеный небесный эфир.
Внизу добивают раненых и воюют за мир.
А я там, где горит осколком
Расщепленный клен,
И нет для меня лагерей, и нет для меня знамен.
Корпия сонного снега
Плавится и шипит.
Меня заливают бензином, мне что-то ставят на вид.
Моя ненависть слишком слаба,
Чтобы против кого-то вставать.
Можно, я буду тихим огнем,
который легко забывать?
Я могу не спалить, а согреть чей-то холодный приют,

Но мне присылают повестку и приговаривают.
Моя ненависть слишком слаба,
А голос любви суров.
В поле стоит изба,
За полем – лес из крестов.
На сеновале икона,
На гнутом гвозде ружьё.
Можно, я буду тихим огнём?
Это моё.

Александр КОСТЕРЕВ. «Кому рисуют свет и тень»

До осени за день

Какие произносятся слова
до осени за день или за два?
Не донкихотствуй, август, вереницы
ветров пронзают солнечные спицы,
твоей листве пригрезилась напасть
упасть до снега, а под ним пропасть...
А осень – лучезарная кокетка —
разденется почти до голой ветки
и соблазнит своею наготой,
мгновеньям лета говоря:
– Пстой!
За день, за два, судьбе не прекословь —
мы поминаем летнюю любовь,
ведь охлаждение рыщет у порога,
а впереди – нелёгкая дорога,
которой мы проследовать должны
галдящим птичьим клином...
До весны!
Какие произносятся слова
до осени за день или за два?

Вот бы

Вот бы встретить старость в добротном кресле,
не тревожась мыслью, что будет если,
в одинокий вечер не станет друга,
и страны советов с названием Google...

Соловей откормлен в древесной чаще,
он не зря трудился, как настоящий,
заливаясь песней... Пропало лето —
в проходящий поезд полно билетов...

Нас учили книги, вожди, эпоха:
завтра будет лучше, не всё так плохо...
Пирожков пожарим на старом масле,
мы по жизни – деды, но ходим в ясли...

В лучший мир несёмся шестеркой цугом,
согрешивший сам да отыщет угол...
Где проспали душу, копаясь в теле?
И не стали лучше...
А так хотели...

Мало ли что случится

Мало ли что случится – не исчезай до срока:

молния постучится в черную гладь окна,
мавры уедут к морю, передохнув в Марокко,
ляжет на спящий город мёртвая тишина...
В Летнем саду Эвтерпу ночью разденет ветер,
в горечи расставаний нету ничьей вины,
помню твое дыхание, сколько живу на свете,
верю, что ты на небе сладкие видишь сны.
Мало ли что случится, не оцифруешь даже,
мы на земле расставшись, встретимся вновь и вновь,
словно атланты встанем в портике Эрмитажа,
чтобы держать на пальцах нашу с тобой любовь...
В клетке моей каморки тягостно и тревожно,
будь неизменно рядом, не зажигай огня...
Старому Буратино было бы не возможно
жить, если б там, на небе, ты не ждала меня ...

Молчание

Слова раздражают уши —
молчанье не может лгать ...
Мне нравится больше слушать —
тебе, как всегда, молчать....

И в этой тиши вселенской
бормочет по крыше дождь:
— Молчание неизменно,
когда ничего не ждёшь...

В подполье скребутся мыши,
в окно заползает свет...
Мне кажется, я услышу,
Что ты промолчишь в ответ...

Небо

Путь подстреленных птиц не всегда одинаков:
как удержишь судьбу в искалеченных лапах?
Но смирение в клетке немногим по нраву:
проще с неба о землю! И вечная слава?

А поэты, как птицы — паденья и взлеты —
(подниматься и падать — такая работа),
быть мишенью насмешек (не только казаться),
быть поверженным ниц, но опять подниматься...

И мечтают поэты о сущем и вечном,
о вселенской любви (неземной бесконечной),
и, конечно, о маме в домишке убогом,
да, пожалуй, о том, с чем предстать перед Богом...

Среди стольких ушедших,

парящим над нами
лучше видно дорогу...
Взлетевших – помянем...

Блюзовое

Ты лучевой ожог – не остановишь боль,
мой затяжной прыжок, выпитый алкоголь;
рушатся города, странствуют корабли...
Мне без тебя нельзя, даже на край земли.
Что от любви? Зола, угли в печи пустой,
мне без тебя нельзя, тошно, хоть волком вой,
знаю, приворожишь – только не в этом суть,
Богом прошу, малыш, вечно со мною будь.
Призрак из бытия, словно недобрый знак.
Мне без тебя – нельзя,
рядом с тобой – никак...

Качели

Скрип качелей:
– Не мы, не мы...
В опустевшем саду заброшенном...
Так натужно:
– Всего хорошего!
Расставание до весны...
Через лужиц зеркальный наст,
звук шагов возвращает в прошлое...
На прощанье:
– Всего хорошего!
Ясно слышится:
– Бог подаст...
Не ноябрь, а наяд наряд,
с голью гоголь, скрипит качелями
о любви, в которую верили
в сверх прозрачности ноября ...
Сгинь, стыдливая нагота!
Подбираю слова корявые,
а качели губами ржавыми
всё скрипели:
– Не та, не та...

Не параллельное

В параллельных мирах мы летим – горделивые птицы,
в параллельных мирах, где не встретиться и не проститься,
в параллельных мирах, постигая вселенский простор...
Параллельность миров разделяют заборы и стены,
сохранив свое «Я» – мы возводим преграды из тлена:
ни звонка, ни письма, ни привета, ни взгляда в упор...
Наш учитель – Евклид, для души – Лобачевский и Риман,
только первое: «Ма!» от прощального неотлично,

мы не ценим счастливых мгновений до крайней поры...
Параллельны миры... Мы как линии в них одиноки,
не транжирьте любовь: быстротечны улыбки и вздохи,
и, пожалуйста, будьте добры, берегите миры!

Помилуй Бог...

Помилуй...

Бог в улыбке и руке,
а не в иконах в красном уголке,
Он безусловно прячется повсюду:
помоет губкой грязную посуду,
под вечер шьет и штопает носки,
а что Его шаги – они легки,
касания Его подобны чуду...

У тихих вод заросшего пруда
желтеет одуванчик придорожный,
он тоже – Бог, и жизнь его проста,
а мы с тобой, выдумывая сложность,
ей воздвигаем гордый пьедестал...
А сколько жить – полгода ли, полста?

Под гнетом гирь торопятся часы...
Недолг век у капельки росы,
И по тропинке за крутым холмом
мы к первозданной тишине бредём...
Для грешника такая благодать
со стороны за Богом наблюдать...

СонНет

Кому рисуют свет и тень
(за пару слёз оплывшей свечки)
дрова за дверцей старой печки?
Наш пляжик у прохладной речки
всё также жив... Садовый пенёк
пророс и нанизал на прутик
всю эту горе-дребедень...

Забыв про красного коня,
тебя лохматую и злую
во сне сотру, и нарисую
какой?
Хотел бы видеть вновь
свою вчерашнюю любовь,
я так бессмысленно ревную,
ко всем, кто были до меня...

В тоске по безмятежным дням,
когда так откровенно спится,

и не взлететь, не опуститься,
мы – не пернатые...

Ведь птица
с потерей неба не смирится,
и нам бы вместе к небесам!

Прости, бродяга Дон-Кихот,
по нарисованным аллеям,
где солнце круглое алеет,
я поскачу за Дульсинеей,
с годами замедляя ход...

У сказок дел – невпроворот,
веками шелестят страницы,
часам пора остепениться,
не подавать свой страшный знак:
тик – так...
тик – так...
тик – так...

Евгений РАЗУМОВ. «Это ангелов падают тени»

* * *

Останутся письма. (По сути, – уже в никуда,
уже ниоткуда.) Зачем их писали, Саида,
деревья и птицы; и наши с тобой города;
и мы, получается?.. От законного вида

пора отвыкать. (Говорят человеку глаза.)
А он по привычке находит зацепку в июле,
где ты родилась, где летает еще стрекоза,
где яблоки зреют, где мы навсегда не уснули.

«И это зачем, получается?..» – думает клен.
(Ему за окном, очевидно, виднее, Саида.)
Я помню, Саида, что был я когда-то влюблен.
И адрес писал на конверте (я помню) – Колхида.

(Ну, может, правее, где бродит еще Геродот
среди пастухов, именуемых...) Впрочем, не надо
себя возвращать в этот месяц, тем более – год,
где горечь сулит древнегреческий вкус винограда.

Останутся письма... (Рука не бросает в огонь.)
Июль за окном... (Повторяемость яблок в природе.)
И, может, – душа. (На которой осталась ладонь
Твоя – отпечатком.) Закладка моя в Геродоте.
2.1.2016

* * *

Так бы и шел бы по снегу Увы-Человек,
в коем душа обитает согласно природе,
где эта птица летает и где этот век —
вроде картинки и памяти чьей-то навроде.

Только Увы-Человеку за сорок уже.
(За шестьдесят, если паспорту верить отчасти.)
Много чего у него, говорит, на душе,
чтоб говорить поперечному-встречному «здрасте».

То-то молчит... то-то трогает пикой сапог,
то есть башмак, то есть ногу в чулке из оленя.
За шестьдесят на земле он изрядно продрог.
(Что-то скрипит, говорит он, вдобавок в колене.)

«Ну, ничего... отдохнем», – говорят башмаки.
«Горло промочим», – ему обещает баклага.

«Экие вы, – он потрогает грудь, – дураки!..
Зря, что ли, воет четвертые сутки собака?..»

Дескать, увы, окончательно кончится лес,
где догонял, если памяти верить, оленя.
Даже молитвы – и той остается в обрез.
Птицы летят?.. Это ангелов падают тени.
5.1.2016

* * *

Потрясающий мужчина в потрясающей черкеске.
Он кинжалом потрясает. (Он, наверно, янычар.)
Ну, а я... Всего лишь поезд, смотрит из-за занавески
где старик (почти) сегодня на вчерашний на анчар.

Он (старик) любил когда-то это место на планете,
то есть девушку, конечно, что приходит из-за гор.
«Пути жизни», – ты сказала?.. Поезд вышел на рассвете,
но приехал ли куда-то – не известно до сих пор.

«Где застрял?» – не спросят люди (например, у семафора).
Может, в памяти ущелья, там, где горная река?..
Или около аула, где тебе родиться скоро
суждено?.. (Куда забросит этот поезд старика?..)

Он (старик) любил когда-то эту яблоню до неба,
под которой ты стояла, ты – ресницы опустив.
Кто еще тебя полюбит ТАК?.. (Отчаянно и слепо.)
Кто тебя ТАКОЙ услышит?.. (Твой божественный мотив.)

Потрясающий мужчина в потрясающей черкеске?..
Что ж... Возможно. Ведь возможен этот мир и без людей.
Поезд встанет у перрона. И не дрогнут занавески.
Только ржавчина покроет груды тряпок и костей.
8.1.2016

* * *

Я назову тебя «роман», куда тропическая ночь
вовсю совала лепестки, дурманя голову мою.
И ты опишешь мне ее – цветов таинственную дочь,
перед которой до сих пор, представь, в душе своей стою.

Почти Гоген, чей чемодан увез куда-то пароход,
где курит трубку капитан, где люди белые живут.
А я – живу?.. Не знаю сам. Живу – уже тридцатый год.
(Без той, которую то там встречаю в памяти, то тут.)

Она по-прежнему юна и ходит снова голышом
среди кумирен прошлых лет, среди деревьев и травы,

где мы на острове живем (конечно же, на небольшом),
где, может быть, хотели б жить и вы, и вы, и вы, и вы...

А что же времени пила, что пилит всякие цветы
на всяком дереве, – она обходит остров стороной?..
Не знаю. Это-то как раз, роман, мне и опишешь ты,
хотя бы в двух словах, ага, хотя бы строчкою одной.

Зачем Гогену чемодан?.. Зачем и мне теперь Париж?..
Ведь у романа есть конец, совсем другие где несут
цветы... Так пахнет пароход, где курят, видимо, гашиш,
где больше дочери цветов не встречу я ни там, ни тут.

10.1.2016

* * *

«Нет никакой Саиды», – я написал в романе,
где над букетом белым (помню) кружили осы.
«Да и была ли?..» – спросят люди-вавилоняне,
те, что наги сегодня, те, что сегодня босы.

«Где их туники-тоги? Где, – говорю, – браслеты?..»
Ветер молчит над Тигром. И над Евфратом – тоже.
«Нет никакой Саиды тридцать второе лето», –
осы жужжат хитином. «Тридцать второе?.. Боже!..» –

не говорит мой разум (там, где болело сердце).
Не говорит – но слышу: наши смеются дети
там, где в раю открыта (так показалось) дверца,
там, где «люблю» – чеканка на золотом браслете.

«Где тот браслет, Саида?..» – над камышом Евфрата
(голос того, кто умер), над перегноем Тигра.
Тридцать второе лето – это уже расплата
за одуванчик рая, что щекотал мне икры.

15.1.2016

ПОСТСКРИПТУМ

П.Корнилову

Когда в романе проползет из Магадана паровоз,
в котором пьяный кочегар трезвее, может быть, луны,
вы посмотрите на него, но – с юмором, но – не всерьез,
хотя, конечно, тоже вы бывали чем-нибудь пьяны.

Допустим, юностью другой. Допустим, вереска дымком,
который стелется сто лет, допустим, боже мой, назад.
«А ведь не надо тосковать, роман, наверно, ни о ком», –
роману, Павел, говорю – и сам не рад, и сам не рад.

Что, пачку писем развязав, я окунулся с головой
туда, где сотню лет назад, наверное, тот вереск цвел.
А что же пьяный кочегар?.. (Вы спросите.) Живой. Живой.
Вон – курит трубочку свою: из Магадана еду, мол.

Мол, в Симферополь, где хурма и прочий зреет виноград,
который – новое вино, который – женщина в ночи.
Я пачку писем развязал – и сам не рад, и сам не рад.
(Ведь там от города Ее лежали, боже мой, ключи!..)

Но – поезд ехал не туда. Но – время кончилось любви.
А у другого был уже другой, наверно, циферблат.
«По-адыгейски будет как, – Ее спрошу я, – се ля ви?»
А что же пьяный кочегар?.. Не виноват. Не виноват.
16.1.2016

* * *

Внуку

Тебе придумают судьбу, которая – другая.
А та, которая хранит, кому-то не нужна.
И запакует чемодан слона и попугая.
(Не пикнет даже хоботок у этого слона.)

И этот плюшевый народ уедет на бибике —
туда, где будет хорошо (кому-то – не тебе).
А я?.. Я, мальчик, напишу вослед четыре книги.
О чем?.. О том, не значу что уже в твоей судьбе.

Я не сопьюсь среди зверей – енота и собаки,
точней – енота и кота. (Собаки тоже нет.
Она сбежала без тебя, точней – ушла в дворняги.
Такая плюшевая вся. И погасила свет.)

Я просто тихо закурю на кухне сигарету.
(Хотя лет десять не курил.) Еще – утру слезу.
Ведь я отсюда никуда, мой ангел, не уеду.
Ведь я енота и кота тебе не привезу.

Туда, где будет хорошо (кому-то), вероятно.
Молиться буду о тебе, мой мальчик, где-то там.
Судьба?.. Моя – уже прошла. Прошла уже – и ладно.
«Храни твою судьбу Господь!..» – шепчу я городам.
27.1.2016

* * *

Зубы моей Печали черные от чифира.
И папиросу курят, как истопник Истомин.
Бродского не читают (не сотвори кумира) –
только листают (дескать, Бродский довольно темен).

(Дескать, любил Марину тридцать четыре года,
а параллельно, то есть в меридианах если,
жил половую жизнью, то есть любил кого-то
под, например, Вивальди или, допустим, Пресли.)

Ей же – милее Данте (даром что латинянин),
ну, и чуть-чуть Петрарка (тот, что ушел в монахи).
Пишет куда-то письма (почерк довольно странен).
Той, что моей не стала возле моей рубахи.

Что сообщает – дура – той, что меня забыла?..
Мой телефонный номер? Или строку романа,
где саркофаги чьи-то смотрят на берег Нила
каменными глазами, что из обсидиана?..

Лучше кури махорку – ту, что росла в Майкопе.
(Кто-то прислал когда-то. В прошлом, наверно, веке.)
Водку купи. Ответит?.. Значит, вы – дуры обе.
(Лучше б цыкуту дали вам – для меня – в аптеке.)
12.2.2016

* * *

П.Корнилову

У меня из романа торчат рукава.
И ботинки торчат. И (наверное) кепка.
Под которой живу. Под которой трава
за ботинки цепляется, видимо, цепко.

Это пугало, видимо, где-то стоит,
одолжив пиджачок с папиросой в кармане.
У меня (например). Или делает вид,
что любило оно (говорится в романе).

Вы его прочитаете, Павел, опять,
потому что в стихах эта скрипка играла.
(Например, у меня.) И отправитесь спать.
На Луну. Что свисает поверх одеяла.

Там когда-то стояло и пугало то,
что уже папиросу мою докурило.
В этой замшевой кепке. И в этом пальто.
И в ботинках (под цвет, почитай, крокодила).

«Почитай, – говорит, – про себя и т.д.,
то есть девушку чью-то, что бабушкой стала».
Я назвал этот, Павел, роман – «Шадлядэ».
Это – ртуть. Это – жидкого привкус металла.
18.2.2016

АНУННАКИ

А.Зябликову

Я до Древнего Шумера
был обычным пионером
и пилил себе скворечник
из обструганной сосны.
И Коперник мне с указкой
был, наверное, примером.
И абстракцией казалась
карта умершей страны.

Но над кепкою торчали
вопросительные знаки,
задевая пирамиды,
зиккураты, облака...
И Анубис отличался
от, наверное, собаки.
И росла нога в ботинке,
а под варежкой – рука.

Леша, что мы в этой глине
с той поры понаписали?
Что мы высекли из камня
рядом с умной головой?..
С чемоданом из нефрита
стоя на ж/д вокзале,
я из клинописи вижу,
что Шумер, смотри, – живой.

Просто поезд из базальта
чуть опаздывает, Леша.
Может, это и неплохо?..
(По-шумерски – хорошо.)
Можно около киоска
выбрать новые калоши.
(Пригодятся возле Тигра
и Евфрата нам ужо.)

На один билет не сядешь.
Значит, первым я поеду.
Ну, а ты напишешь книгу
на аккадском языке,
где спустились ануннаки
к нам на грешную планету –
смастерить скворечник... небо...
нас с тобой невдалеке.

23.2.2016

* * *

Там, где времени огрызок, там, где яблоко висело,
там сегодня – только небо, только небо и ку-ку.
Никакого дирижабля, что построен был умело.
Там. Еще до Хаммурапи. Там. Где дырочка в боку

у Адама. (Снится это.) На будильнике – четыре.
Через час проснутся люди (хлебопеки и цари).
А к шести и я, возможно, буду шлепать по квартире
в древних шлепанцах, макая в черный кофе сухари.

Мне ведь жить, пожалуй, надо. Там, где времени огрызок,
различать его погоду, чтобы валенки не шли
по дождю до горизонта, что на карте этой близок,
чтобы знать, когда закружат в небе первые шмели.

Разожгу, пожалуй, примус для картофеля сырого,
нет, пожалуй, для глазуньи. (Аппетитнее она.)
Новый день – когда глазунью ты откусываешь снова.
Пьешь кефир. (На упаковке дата новая видна.)

Может, жизнь пенсионера зарождается на Марсе?..
Где – ни грамма кислорода, ни стаканчика воды.
К древним шлепанцам прижмется кот. Рука погладит – «Барсик».
(Он еще у Хаммурапи утром спрашивал еды.)
4.3.2016

СКВОРЕЧНИК

Ю.Бекишеву

Человек (глаза и уши) смотрит в сторону весны.
Там чирикают покамест только птицы-воробьи.
Но грачи – уже в полете. Вон, из Африки-страны
утром вылетели, то есть нет у них ор нот ту би.

Юра, а у нас – датчанок и датчан – вопрос стоит
на повестке дня, в котором мокнет валенок в снегу?..
Полезай, Шекспир, на полку!.. Разотрем радикулит
телогрейкою своею через слово не могу.

(Добавлять других не надо. Это – все-таки колхоз,
коллективное хозяйство то есть, ходят дамы где
по садам и огородам возле чеснока и роз,
проводя весну и лето в дачном, Юрочка, труде.)

Скрипнет мельница. Неплохо. Весла скрипнут. Хорошо.
«Это все – ту би», – скажу я, дорогой Уильям Ша!
И грачи – уже в полете. Сок березовый уже
по-за ужином пригубит или пригубит душа.

Осязаем даже краску – через тертую морковь,
через пригоршню черники, через белые стихи...
Не беда, что перестали сочинять их про любовь.
Про земную. (И другие есть за пазухой грехи.)

Но над ними есть скворечник, где (уж так заведено)
будет писк стоять все лето даже десять лет спустя.
Это, Юра, лучше даже, чем крепленое вино.
«Это – Вечность», – мы ответим, если спросит нас дитя.
22.1.2016

Михаил АФОНИН. «Соломинки прожитых лет»

Соломинки

Мы добавим небесную лёгкость
В перемешанный богом коктейль.
Пусть на стенках окажется гордость,
А на дно лягут ночь и постель.

По глотку, не спеша и не каясь,
Сквозь соломинки прожитых лет,
Отопью от забытого мая.
Он, как мы – и раздет, и согрет.

Ты расскажешь, что что-то забыла,
Я напомним, что это был сон.
Побежим, не держась за перила.
Ты виновна, а я не прощён.

Мы осушим себя и бокалы
За любовь, чёрт возьми! Разве нет?
В двух сердцах кровоточат кинжалы
На соломинки прожитых лет.

Пожар

Мы горим, как будто гнёзда диких птиц.
Наш огонь раздут молчанием двоих.
 Попрошу лекарство в долг у проводниц,
Развесёлых и отчаянно нагих.

Если любишь, отпусти. Что за враньё?
Тот, кто любит, держит из последних сил.
Не затух пожар, и влажное бельё
Я прожёл, когда в постели закурил.

День потерян, ночь прошла. Осталось жить,
На себя смотреть в избитых зеркалах,
Сотворить броню из тысячи обид
И искать спасенья в пьяных поездах.

Золотое с лиловым

Мы тени лучших и хороших
На фоне серого бетона,
В плену захожих и прохожих.
Здесь место есть для двух влюблённых.

Ласкает псов рассвет лиловый.
Хромой старик ругает стрелки.
В цветных обёртках леденцовых
Играем в томные гляделки.

Свечей мерцающие герцы
Нам золотая середина.
Ведёт по коже и по сердцу
Любовь лиловым ногтем длинным.

Мечты от снов не отличая,
Кацаемся в стереозвуке.
Здесь наша клетка золотая
И шанс не умереть от скуки.

Жара

Солнце в землю влетает стрелами,
Небо тает, как эскимо.
Из чего мы с тобою сделаны,
Если движемся в слоу мо?

Дни жара убивает медленно,
По минутам стирая нас.
Посмотри на свет надоедливый,
Выдыхай углекислый газ.

Мой кивок тебе – пластилиновый,
Твой ответ – взгляд поверх очков.
Мысли тощими балеринами
Скачут врозь, не касаясь слов.

Пробежит волна понимания
Ветром чуть охладив наш жар.
Номер дома, постель наскальная,
Приглашает в подвальный бар.

Как рука на твоей окажется,
Загорится хмельной коктейль.
Там жара, как обет монашества.
Тут у нас есть судьба и цель.

Этот день был порезан скальпелем.
Но сошлось всё, что порвалось.
Мы вернёмся в вулкан асфальтовый,
Только с отблеском первых звёзд.

Хватит

Для мечты хватит спичек и тени на белой стене,
Даже если блестит чистым золотом, но без дверей.
Только если теряешь, оставь хоть немного себе.
Знаешь, если находишь, не значит, что будет твоей.

Для дыхания хватит эфира и восемь глотков
Неизвестного пойла из роз, скорпионов и жаб.
Только если желаешь, не жди на дороге подков.
Знаешь, если жалеешь, не смей показать, что ты слаб.

Для любви хватит сердца. Второе тебе ни к чему.
А захочется больше, своё подели пополам.
Знаешь, если умеешь, не стоит искать по уму.
Только если молчишь, значит строишь невидимый храм.

Сегодня

Я сегодня горел
Миллионом огней.
В граде огненных стрел
Стать на время хотел
Пеплом календарей.

Я сегодня сумел
Быть немного сильнеей.
И теперь есть предел,
Я к огню охладел
И сорвался с цепей.

Я сегодня играл
Роль в театре теней.
Но закончился бал,
Остывает металл
В тесноте простыней.

Я сегодня вандал —
Разрушаю твой храм.
На пустой пьедестал
Я поставлю бокал
И огнём стану сам.

Нина ТУРЧИНА. «Я на белом холсте нарисую рассвет...»

Когда звонят колокола

Ажурной сетью веток тонких
Покрыто небо октября,
Осколки льда на лужах ломких,
Воскресный день календаря.

Вороны, надрываясь криком,
Облюбовали старый клён,
Где лист последний в танце тихом
Кружится, ветром окрылён.

Сквозь воздух серый и холодный,
Раздастся колокольный звон,
Даря душе полёт свободный,
Так есть и было испокон.

Над градом рассыпаясь звуки,
Развеют скуку бытия,
Уйдут сомненья прочь и муки,
И вновь затеплится мечта.

Всё тоже небо, солнце бликом,
Все те же краски и тона,
И жизнь не кажется безликой,
Когда звонят колокола.

31.10.2021

Межсезонье

Гарцевала наездница осень,
Конь игрЕневый рвал узду из рук.
Полыхала огнём между сосен,
Одевала в янтарь всё вокруг.

Век наездницы яркой недолгий,
Красоту растрепало ветрами;
Дождь со снегом безжалостно колкий
Чертит небо слепыми мазками.

Переход, межсезонье, распытье-
Всё смешалось, не видно просвета.
Поменяла наездница платье-
Стало всё первозданного цвета.

Всё укрыла зима нежно-белым,

У коня грива вьётся метелью,
Им наездница правит умело,
Снежной всё закружив каруселью.
13.12.2021

Диафильм

Листает память детство, словно плёнку,
Мелькает диафильм на белой ткани;
Смотрю и вижу с бантиком девчонку,
В нарядном ярко-жёлтом сарафане.
Замена кадра-ложкой ем сгущёнку,
Среди игрушек сидя на диване.
Ещё я помню шоколад «Алёнка»,
Делили на двоих с подружкой Таней.
На белой ткани новая картинка:
Рисую красками в альбоме осень,
Не удалась плетёная корзинка
С грибами, что собрали между сосен.
Летает тонкой нитью паутинка,
И журавли пронзают неба просинь.
Читает сказку старая пластинка,
А мне тогда всего лишь было восемь.

Промчались кадры детства через годы:
На кухонном столе отрез клеёнки,
По радио идёт прогноз погоды;
Запомнился орнамент на солонке,
В тетради ручкой слово «парАходы»,
Разбитые коленки все в зелёнке.
Меняются закаты и восходы,
Не стоят слёз ошибки той девчонки.
04.10.2021

Старый сад

Накинув шаль из кружева жасмина,
Я прогуляться выйду в старый сад.
Там кружит в танце тонкая рябина,
И пчёлы над шиповником жужжат.

Пионы разрослись густой копной.
Неведомый художник творил чудо,
Палитру с розовым задел рукой
И вылил краску в зелень изумруда.

Там россыпь колокольчиков в саду
Поёт, переливаясь нежным звуком.
Сирень, накинув белую фату,

Венчанье ожидает с милым другом.

В тенистой части ландыши ковром
Под ноги расстилаются беспечно.
В ветвях щебечут птицы мне о том,
Что не бывает в жизни слова «вечно».

Иду по тонкой шёлковой траве,
Там у пруда из незабудок покрывало.
Лишь для меня в цветочной синеве,
Июня песнь негромкая звучала.
04.06.2021

Рассвет

Я на белом холсте нарисую рассвет-
Зарождение дивного утра,
На палитре смешая охры пляжный вельвет
И добавлю чуть-чуть перламутра.

А еще я возьму немного белил,
Кистью чаек легко задевая,
И на водную гладь каплю темных чернил,
Синеву глубиной оттеняя.

Я рисую пейзаж у себя на холсте,
Добавляя все новые краски.
Я творю, предаваясь мечте,
Погружаясь в фантазии-сказки.

Я мгновенье рассвета хочу задержать
Кистью тонкой, оттенком, штрихами...
Жаль, что я не могу рисовать-
Постараюсь исправить стихами.
27.06.2020

Осенний купаж

Утром прохладным пройдуся не спеша,
Вдоль тротуаров дождями омытых;
Терпкость осенняя, шлейф купажа
Взвесью молекул незримо разлитых.

Запахом прелым маня за собой,
Влажность тумана наполнила скверы,
Тихо иду по пустой мостовой,
Жадно глотая ликёр атмосферы.

Ветер доносит с далёких полей

В зиму земли перепаханной ноты,
Тонкой вуалью просторы степей
Дарят забытую лёгкость свободы.

Утро незримо сменяется днём.
Новости с запахом горькой тревоги.
Страхи не смоешь холодным дождём.
Каждый свои измеряет дороги.
26.09.2022

Сентябрь

Сентябрь – стилига, модник, франт,
Меняет каждый день наряды.
Завяжет ярко-жёлтый бант,
К себе приковывая взгляды,
Достанет замшевый кафтан
Оттенков розово-багряных,
Сапожки красные сафьян
Да шлейф духов немного пряных.
Идёт по парку не спеша,
Снимает шляпу пред рябиной;
Звучит мелодией душа,
Сливаясь с песней журавлиной.
Печально, праздничный наряд
Недолго выглядит парадным;
Ветра закружат листопад,
Стилига станет неопрятным.
Дождём размочит все тона,
Исчезнет буйство ярких красок;
Сентябрь отдаст себя сполна,
Мир погружая в грёзы сказок.
17.09.2022

Поэтические листки: Андрей СКРЫЛЬ, Даниил СЕМЁНОВ, Юрий КИТАЕВ

Андрей СКРЫЛЬ. «У нас с тобой одна судьба, но я буду позже...»

Из детства

Звенит"
весенняя капель,
Играет"
лейтмотив упругих веток.
Живым ключом
гудит"
природная купель.
И на земле
от детских ног
— Оставлен —
свежий слепок...

Хокку

Дзен цветущих садов.
Пение птиц умолкает.
Наступает багряный закат...

Сакуры лепестки.
Ветер срывает и несёт их к реке.
Солнце медленно клонится к закату.
Я созидаю.

Дули ветра, море шумело.
Океаны плескались,
лаская дикую сушь.
А в небе ночном
звёзды горели
взглядом блаженных душ...

Нежно укроет тебя бахромой
Цвета сандаловых красок,
Расцветшею тёплой весной
Безликая ночь.
И я буду рядом с тобой...
Без тени сомнений и масок.

Даниил СЕМЁНОВ. «А может, игры разума...»

Включаешь свет и видишь коридор,
оставленный тобой перед уходом.
Всё в нём осталось прежним.
Мимоходом
шагало время,
как бесшумный вор.
Пространство было вышито молчанием,
пылинки плыли – звёзды в пелене
большого солнца в кухонном окне,
вскрывающего тёмное отчаянно.
Но ты вошёл, ворвалось завихрение,
соприкоснулись внешний холодок
и тёплое квартирное течение,
толкающее белый потолок.
Включаешь свет и видишь коридор...
А без него нет паузы в звучании.
Ты продолжаешь давний разговор
о том, что мир покинуло Сознание.
20 августа 2020

Стенания

Кардиограмма посторонней тишины,
имеющей дыхание в квартире,
пульсирует в прожилках у стены,
точнее – у бетона в сердцевине.
Там лунное сплетение ночей,
самозабвенно отторгающих рассветы,
хоронит тайны в порах и секреты,
а также гул заведомо ничей.
Прижаться ухом, значит распознать
среди речи человеческой, как за печью,
иные виды жизни, что не легче,
ведь Морзе не поможет тут,
видать.
Стенания/воспоминаний гулы -
плод вещей сквозь заспазменные скулы,
а может, игры разума... опять.
20 сентября 2022

Юрий КИТАЕВ

Недосыгаемо, хотя светло...
Ввысь устремленные этажи...
Через границу, через стекло
Видим красивую чистую жизнь.

Ходит по свету Иван-дурак,
Во дворце скучает невеста его,

Еще не знает о нем ничего,
Думает, что в жизни ее все не так...

Недосыгаемо, хотя светло...
Ввысь устремленные тополя...
Небо дождями на нас стекло,
К небу приблизились наши поля.

Полно, царевна, не мучь, не плачь.
Ну, Несмеянушка, улыбнись...
Веселые лошади несутся вскачь –
Может быть, вдаль, а может быть, ввысь.

Полночь. Улица. Крики. Звонки...
Не начать ли нам с новой строки?
Мир разбит на большие куски,
Телефонная трубка. Гудки.

Полночь. Улица. Пыль и жара.
Мы больны или просто пора?
В переулке удар топора:
Не лихая ль настала пора.

Полночь. Улица. Здесь я один.
Люди спят. В мире нет никого:
Ни улыбок, ни улиц, ни спин.
Я один. Я молчу. Я живой.

«В поисках жемчужины»

Александр ФОКИН. Февраль

Пора чернила брать и плакать,
Сосульки будут рядом петь...
Как долгожданна эта слякоть,
И незакатна Солнца медь.

А там и Пушкин с Пастернаком
Добавят слёз или чернил...
Уже февраль! Пора всё на кон!
Чтоб мир по-русски говорил!
04.02.2023.

Евгений ЧЕКАНОВ. Огненный вал

Окруженная огненным валом,
Вдалеке от земных пустяков,
Ты стоишь – и во взоре усталом
Бродят тени минувших веков.

То коричневый отблеск, то красный
Промелькнет и уйдет в никуда.
А во лбу, словно призрак ужасный,
Полыхает, не гаснет звезда.

Но стоишь ты за огненным валом,
Своим собственным светом светя,
И в мечтании своем небывалом
К небесам воздымаешь дитя.

На скрещении счастья и горя
Там, где прадед пахал и певал,
Ты стоишь – и от моря до моря
Простирается огненный вал.
05.03.2022

Денис ШИРОКОВ. Вот и всё...

Вот и всё. Вот и кончилось лето.
Отшумела лихая листва.
Только тёплое сердце поэта
всё шумит, подбирая слова.

Всё шумит... Мне не надо другого.
Я спокоен за выбранный путь.
Как дыхание, как ветер, как слово,
я могу в эту осень шагнуть.

«Художественное слово: Проза»

Евгений ЧЕКАНОВ . Отец где-то здесь

(повесть, написанная в 1993 году)

Вы умерли: казалось – вы никому не нужны. И вот, когда вы забыты всем миром и, так сказать, испытываете пустыню небытия, около вашей могилы начинает копать какая-то любящая рука – разбирает надпись на могильной плите, поправляет землю и иногда воткнет цветок: вы вдруг среди ледяного небытия согреваетесь человеческою теплотою, и для вас начинается еще вторая, удивительно интимная и милая жизнь. Грустно, что операции этой подвергаются только писатели: следовало бы каждому человеку иметь для себя подобного копуна.

Василий Розанов

Ночь – хоть глаз коли. Но по тихому плеску воды под ногами, по влажной свежести воздуха я безошибочно определяю: это река. Большая река, медленно текущая во тьме неизвестно откуда и неизвестно куда.

Неподалеку, вверху, одиноко светится оранжевый квадратик окошка. Там, на высоком незримом берегу, – дом, тепло, свет, люди. А мне надо плыть...

Шаткий плотик из нескольких бревен, перехваченных железными скобами, готов к путешествию: в моих руках – длинная жердь, я упираюсь ею в дно... ну, поехали? Но резкий толчок вдруг сотрясает плот, бревна подо мною начинают гулять, ходить ходуном – это кто-то неуклюжий и грузный прыгает ко мне с берега и, шумно дыша, устраивается за моей спиной. Кого еще принесло? Мне и одному-то еле-еле хватает тут места...

Это – отец. На плече у него длиннющий рыбацкий намет, браконьерская снасть времен моего детства. С помощью этой штуки мы налавливали, бывало, по ночам целые ведра плотвы и подлещиков. Ну, папа «в своем амплуа» – без инструмента шагу не ступит...

С трудом подавив раздражение, я осторожно отправляю в путь погрузившийся в воду плот. Удержит ли он двоих? Вода плещет и холодит ноги; вверху и вокруг – огромный, непрояданный ночной космос...

Что это за река? Жизнь? История? Судьба? Душа? Куда и зачем я должен плыть? Почему мой плотик так шаток? Почему в моих снах так часто царит тьма?

Скоро отец отяжелит мою жизнь. Видимо, так я должен был понять его появление в моем сне – первое появление за долгие годы. И ведь мог понять, мог! То, что сон необычен, я смутно сознавал уже там, во сне. С первых же мгновений, – хотя там не было ни мгновений, ни лет, не было времени, – я испытывал удивительное, ранее незнакомое мне ощущение какой-то сверхдостоверности происходящего. Это ощущение трудно передать словами, но я помню, что оно было сильным и острым: я знал, что эта ночь, эта река, это плот – настоящие, а всё остальное... об остальном мне ничего не было известно. Это было ощущение полноты и окончательности

бытия: всё то, что существовало бы кроме этой ночи и этой реки, было бы лишним, нарушало бы целостность мира...

Уже проснувшись, я некоторое время продолжал жить этим ощущением, – и тут же, включив свет, на первом попавшемся клочке бумаги записал корявыми буквами содержание сна, на память о странном видении.

Но то, что оно было вещим, я тогда не понял.

А вдруг я не разгадал его и сейчас? Вдруг мой сон предвещал мне не только то, что через два месяца мой отец умрет от сердечного приступа? Вдруг это ночное путешествие по неведомой реке сулило что-то еще – неразгаданное, тайное, темное?

Почему на плоту больше никого нет – ни моей матери, ни брата, ни других близких? Почему светящееся окошко так высоко, так недостижимо? Почему отец прыгнул на плот перед самым отплытием? Что во всем этом – судьбоносно, а что – случайно?

Только прожив до конца отпущенные мне годы, я смогу, быть может, как-то ответить на эти вопросы. Но что толку в пророчестве, которое нельзя разгадать до его исполнения?

И вот что еще тревожит меня: зачем отец взял с собой эту запретную, незаконную снасть? Неужто без нее – никак?

Всё течет и меняется? Нет! – всё стоит на своем месте, ожидая или провожая нас. Всё: любовь, жизнь, смерть. Каждый грядущий день – уже есть, нужно только дожить до него; каждый минувший – там, где мы его оставили. Нельзя дважды войти в одну и ту же реку, сказал древний мудрец, но уже то, что он назвал эту реку по имени – «Одна и та же» —

говорит о том, что в самом существовании ее он не сомневался. Она есть, эта река, и течет в тех же берегах, и вода ее так же обжигает, как и тогда, когда мы вступили в нее впервые.

Всё остается на своем месте, ничто не прошло и ничто не грядет, – всё, кроме нас...

Где-то там, вдали, до сих пор стоят те погожие, тихие дни, в дремотной череде которых есть один, пронизанный всё тем же ласковым, с желтизной, солнцем. Это солнце зависло над крышами того же села, – Глебово на Волге, близ Рыбинска, – и его теплый покойный свет обливает те же избы, те же проулки и луговины, погруженные в ту же тишину, в то же сосредоточенное созерцание. Изредка прочистит горло петух, лениво брехнет пёс, гроыхнет в соседских сенях ведро – и вновь неколебимое спокойствие владеет миром. Идет субботний вечер 23 мая 1992 года.

В такие вечера трудиться во дворе – одно удовольствие. Вот и мой отец не спешит в избу, а ладит теплицу на огороде, забивая кувалдой в землю железные трубы – остов будущего сооружения. Маме, готовящей ужин, слышны сквозь оконное стекло папины сопение и побряхтывание, сопровождающие каждый удар по трубе; впрочем, удары не столь уж часты, а нередко смолкают и вовсе – и вместо них до матери доносятся то залиvistый хохот отца, балагурящего с соседом, то громкие матюги, означающие, что речь пошла о политике.

Мама то и дело заглядывает в спальню, отгороженную от кухни легкой переборкой, и с улыбкой наблюдает из окна за копошащейся в огороде фигурой, облаченной в ватные штаны, фуфайку и валенки с калошами. В последние дни у отца участились приступы, грудная жаба «жмет» его, и постоянный догляд за ним необходим: как бы чего не вышло. Сегодня он, впрочем, чувствует себя неплохо: раз треплется с соседом – значит, «поотпустило». Судя по всему, строительство теплицы продвинется вперед.

Теплица – прихоть матери; а в общем-то, весь огород уже обихожен. Несмотря на возраст и болезни, мои родители и этой весной обошлись без сыновней, то бишь без моей и Андрюхиной, помощи: за апрель отец на тачке развез по огороду гору компоста, лопатой перекопал весь участок, вместе с матерью они посеяли и посадили всё, что было запланировано. Теперь можно

было бы и чуток отдохнуть, но папу вдруг обуяла жажда деятельности – все последние дни он только и делает, что пилит, строгает, красит, приколачивает. Мать, впрочем, это поощряет, ибо любит, «чтобы всё делалось».

Солнце медленно наливается густо-малиновым соком. Через час-полтора наступит время ужина, затем – телевизор, а там пора уж и на боковую. Быт моих родителей вот уже года два-три довольно однообразен, чему причиной папины болезни. Если бы нашего сивку не укатали крутые горки, – стенокардия и отложение солей, – он, без сомнения, уже ускакал бы отсюда, и прекрасный дом номер 15 по улице Новой давно бы уже принадлежал другому владельцу.

Нет худа без добра. Еще один переезд унес бы столько сил и здоровья, что и подумать страшно. А главное, было бы очень жаль этого дома – крепкого и просторного. Недорого купленный на окраине Рыбинска несколько лет тому назад, он был с помощью маминой родни аккуратно разобран, перевезен в Глебово, подновлен и собран вновь; теперь в нем можно жить без заботы лет двадцать, если не все пятьдесят. «Свое – и никому ни под шапочку!» – говорит отец горделиво. Но тут же заводит привычную песню: «Но вечно жить тут я всё равно не буду, мамка! Уеду к чертовой матери!»

Что ж, уехал бы, не задолбил... ведь для людей переезд – пожар, а для нашего Феликса Михайловича – праздник.

Всю жизнь мои родители ездят с места на место, без видимых причин покидая каждые пять-семь лет обжитые углы. Поначалу матери такая жизнь казалась дикой, но постепенно она смирилась с ролью нитки, всюду следующей за иголкой. Что гнало папу? кто гнал? Проще всего было бы сослаться на его неуживчивый характер, но это не отвечает на вопрос, ибо сразу же возникает другой: а откуда взялся такой характер? Оставим покамест эти вопросы стоять – слишком много у меня вариантов ответа...

Если бы отец не был болен, он уже наверняка объявил бы повсеместно о продаже дома и с удовольствием предался приятнейшей процедуре знакомства с покупателями, обсуждения цены, условий, сроков и всего прочего, сопутствующего продажам и покупкам. Нечто сладостное, призывно будоражащее таится для него в жуткой для оседлого человека ситуации переезда, прощания с прежней жизнью, знакомства с новой. Надо видеть, с каким увлечением он в тысячный раз изучает с карандашом в руке карту Ярославской области, открывая на ней всё новые и новые райские уголки, не тронутые цивилизацией, надо слышать, как он кричит матери:

– Нина! А Наумово-то – на самой железной дороге стоит! Видать по всему – славное местечко! И река недалеко, и до райцентра рукой подать. Надо тебе в город прошвырнуться – села и поехала! Нет, это Наумово мне определенно нравится. Вот бы куда махнуть, а? Нина, ты слышишь?

Цивилизацию папа ненавидит. Из всех ее благ он положительно воспринимает только телевизор; к телефону же и газовой плите до сих пор относится недоверчиво. Более же всего он не любит городских людей – чванистых и жуликоватых. Единственный недолгий опыт житья в большом городе, – в Ярославле, – закончился для него плачевно: продав с порядочным убытком половину дома, купленную за год до того, папа с проклятием рванул назад, в милые его сердцу деревенские просторы...

Большой город насиловал его душу! И даже тело: обычный проезд в городском автобусе был для моего отца мучением. Толкотня, потные спины, острые локти, необходимость приобретать и компостировать какие-то талоны, – всё это угнетало папу; он предпочитал отмахать пешком любую дорогу, нежели ездить в городском транспорте, этом исчадии ада...

...и длится субботний вечер 23 мая, и всё ниже и багровый раскаленный небесный шар, – и вот уже из проулка, покачиваясь, выходит молодой глебовский алкаш Валерка Семенов, изрядно «принявший на грудь».

– Ну, что, Эдмундович, ковыряешься? – бормочет он, подходя поближе.

Папа не любит этого человека, а пуще того не любит, когда подсмеиваются над именем, данным шестьдесят два года тому назад моим политически грамотным дедом. Это имя уже давно стало проклятием отцовской жизни: его всё время перевирают, переделывают, используют для дурацких шуточек – вместо счастья оно приносит одни неприятности. Всю жизнь папа пеняет деду: «Ну, назвал бы ты меня лучше Федей, что тебе стоило!», всю жизнь мечтает назваться как-нибудь иначе – но взяться за эту проблему всерьез ему всё как-то недосуг, да и предполагаемой бюрократической возни с переименованием он боится как огня.

Послав молодого Семенова подальше, мой отец поворачивается к нему спиной и начинает что есть силы колотить полупудовой кувалдой по трубе...

Всё время ловлю себя на мысли: а может быть, это происходило не так? не совсем так?

Нет, матери я, конечно, верю, но есть в этой истории один момент, который меня мучает: мать не видела своими глазами, что случилось между Семеновым и отцом, она только пересказала мне версию Семенова.

А вдруг он ударил отца? Я знаю, что это не так; но – а вдруг? Что мне делать тогда? Мне надо убить Семенова, которого я в жизни никогда не видал.

Но ведь мне не убить...

Или убью?

В последние несколько лет папа не расстается с нитроглицерином, пробирочка с крохотными белыми таблетками и в этот момент лежит в кармане ватных брюк, но на этот раз грудная жаба опережает. Стальной лапой она сжимает старое сердце, отец хватается за карман, бросает кувалду и опускается на теплую рыжеватую землю у фасада дома номер 15 по улице Новой.

Мать, выглянувшая через пару минут в окно, видит Семенова сидящим в огороде и держащим голову отца на своих коленях.

– Эдмундович, ты чё? А, Эдмундович? – гудит Семенов.

Отец лежит как неживой. Мать опрометью выскакивает на улицу.

Он лежит на спине, с таким выражением лица, какое всегда появляется у него во время приступов: жалобно приоткрыв рот, он словно силится втянуть в себя воздух.

Трясущимися руками мать сыплет ему в рот нитроглицерин из пробирочки, но отец не делает ни одного глотательного движения. Таблетки белеют во рту.

Мать поднимает шум, сбегаются соседи. Кто-то уже нащупывает пульс у лежащего неподвижно человека, кто-то бежит за врачом. «Всё делается»...

– Что же ты молчал, – кричит на Семенова мать, еще не верящая в самое страшное, – что же ты не орал, не звал народ?

– А я чё, – бормочет тот. – Он схватился за карман, да и упал. Я думал, он пьяный.

– Да разве ты не знал, что он больной, паразит ты эдакий?

– Не, – мотает Семенов головой, – не знал. Я думал – пьяный.

Наконец, приходит медсестра, молоденькая девица, начинает делать отцу уколы. Все ждут, что будет дальше.

– Надо что-то делать, – рыдает мать, – надо что-то делать! Может, вы ответственности боитесь, так я всю ответственность беру на себя. Давайте сделаем ему искусственное дыхание. Давайте, кто-нибудь, а?

Сосед Саша соглашается – и начинает ритмично надавливать на грудную клетку отца: раз-два, раз-два... Медсестра через платочек дует отцу в рот. Отец лежит в той же позе.

Медсестра начинает измерять ему давление. Давление падает. Пульс становится всё слабее и совсем прекращается.

Дребезжит телефон. Только что вернувшийся из поездки по своим торговым делам, уставший как собака, плохо спавший последнюю ночь, я, кряхтя, встаю с дивана. Плачущий голос в трубке сообщает о смерти моего старого приятеля, местного краеведа Юрия Нестерова. Приглашают на похороны – и я, пособолезновав, обещаю непременно быть. Возвращаясь на свой диван, планирую в уме очередность дел на день погребения покойного – радушного старичка, в хлебосольном доме которого мною со товарищи было в свое время выпито изрядное количество горячительных напитков.

«Свалился, старый, – думаю я, – а ведь в последнее время приободрился, кажись, даже по городу разгуливал... Сердце, сердце... Касьянов год... Что ж, все там будем. Надо будет придти, помочь Галине Николаевне...»

Через полчаса телефон снова трещит – и какой-то вахтер из какого-то райкома профсоюзов трубным голосом уведомляет меня, что несколько часов тому назад скончался мой отец.

...и вот уже я, соскочив с еле ползущего ленинградского поезда на безлюдной ночной станции Кобостово, зябким стремительным шагом иду, то и дело срываясь на бег и спотыкаясь о корни деревьев, по не видимой в темноте тропинке. Нет попутчиков на пути через лес, две высоких дремучих стены стискивают дорогу с обеих сторон, кто-то злобно шипит и трещит сучьями в черных кустах – и я отпугиваю этого «кого-то» резкими выхлопами японского зонтика.

Папа, папа, может, всё это – неправда, дурацкая ошибка?

Четыре километра позади, я вхожу в темное беззвучное село, поднимаюсь из оврага на горку, сворачиваю направо. Вот он, родительский дом. Окна темны и спокойны, но окошко баньки светится.

«Она его моет, – с ужасом думаю я. – Одна моет...»

...полураздетая, в старом белом лифчике, стоя на коленях и тихо подвывая, льет из алюминиевого ковшика теплую воду на скользкое, блестящее под голой электрической лампочкой плечо мужа, – и гладит, гладит это плечо, втайне надеясь, что сейчас мой отец, любитель глупых шуток, поднимет безжизненную руку, отстранит ковшик, со стоном оторвет большое белое тело от струганной лавки, бурча тоном обиженного ребенка: «Да ну тебя, мамка! Что ты на меня всё воду эту льешь?» – и можно будет еще на несколько месяцев, – а может быть, и лет, – отодвинуть от себя неотвратимую жуть грядущего одиночества...

В черном платке и черном свитере, худенькая и маленькая, мать сидит на кухне, тихо беседуя с соседкой. Она с плачем обнимает меня, и я убеждаюсь, что непоправимое – случилось. Соседка, облегченно вздохнув, уходит домой; я снимаю в сенцах ботинки, иду на веранду и, наконец зарыдав, обнимаю еще не остывшее тело папы.

Одутловатое, нездоровое лицо, впалый беззубый рот, морщинистые мешки под глазами, серебристо-пепельный чубчик. Этот человек дал мне жизнь, талант, гордыню, умение понимать красоту, помог мне встать на ноги в чудовищном мире людей, научил жить стиснув зубы, одерживать победы и бросать завоеванное псу под хвост. Больше он меня ничему не научит.

Папа, папа, милый мой, добрый, взбалмошный человек, куда же ты?

– Он улыбается, – говорит мать. – Смотри, он улыбается – ему нравится, что ты приехал.

– Я раньше всех приехал, – сквозь рыдание отвечаю я, – раньше Андрюхи, я через лес бежал...

Руки и ноги отца связаны бечевкой, он лежит на раздвинутом столе, одетый в новый дешёвый костюм и ненадеванную клетчатую рубашку; на ногах – нелепые дырчатые сандалии.

Я вою, как в детстве, кривя рот и размазывая слезы, – от великой обиды на жизнь и на Бога.

– Папа, папа, милый мой, хороший папа... – вою я, целуя и глядя покойника.

Мать оставляет меня наедине с отцом – и то, что я говорю в эти минуты, о чем прошу его, в чем клянусь, слышит только он.

Закрыв лицо отца простыней, возвращаюсь на кухню. Мать собирает ужин, рассказывая, как всё случилось, коря себя за недогадливость, за то, что поздно выглянула в окно, не так насыпала таблеток...

– Ведь никакой тревоги в этот день у меня не было! – восклицает она, испуганно глядя на меня. – Наоборот: тихо, спокойно, весело было на душе. Видно, так уж надо было... С утра он Коле Баруздину колунице тесал, потом с мужиками в огороде хахалился, у меня и думки не было, что так выйдет. Отвело меня, отвело... Господи, как же я теперь буду? Феликс, Феликс! Всё-то ты, матушка, успел, всё приделал – кур отгородил, картошку мы посадили...

Она плачет и вытирает платочком покрасневшие нос и глаза.

– Сразу, – говорю я, слыша в тоне своего голоса оттенок какого-то злобного торжества, – без проволочек, без этих больниц... Раз!.. – и там... Резко, папа, резко. Одним ударом, наотмашь!

– Да, не завалился, – всхлипывает мать. – Люди-то вон годами лежат, под себя ходят. Горшок им носят, с ложечки кормят... Не-ет, Феликс Михайлович так не мог... Феликс, да что же ты наделал?

– Ну, не плачь, не плачь, – бодрюсь я. – Всё равно он здесь жить не собирался. Помнишь? – он хотел всё продать и уехать... Вот и уехал! Никого не отяготил, не озаботил, собрался в одночасье – и махнул! Помнишь, он пел: «Старость меня дома хрен застанет!..»

Мать то плачет, то рассказывает, то снова плачет. Я успокаиваю ее, хлебаю подогретый на электроплитке суп, листаю какие-то журналы, что-то говорю. Снова идем к покойному. Стоя в изголовье, гладим папу, разговариваем с ним и о нем.

– Душа-то его сейчас здесь, – замечает мать, всхлипывая. – Тут она: летает, смотрит на нас... Феликс-Феликс, что ты наделал, а?

Тянется ночь, длится наш разговор, не смея оборваться и оставить нас, – каждого по отдельности, – с не осмысленной как следует новостью. Да, ни я, ни мать еще не осознаем вполне нашу утрату – отец где-то здесь, рядом с нами: вот его таблетки и склянки на лавке, вот брюки и фуфайка, вот тут, на своем любимом месте, у дверного косяка он сидел бы сейчас. Мы слышим эхо его слов, видим мир, не успевший умереть вместе с ним. Папа где-то здесь, а там, на ночной веранде, – лишь остывающий слепок его.

Утро. Пока не встала мать, я иду к отцу. Он такой же, как и вчера – неподвижный и тихий. За окнами веранды – зеленые листья, солнечные зайчики, яркая голубизна неба. Если бы не труп, я подумал бы, что отец где-нибудь поблизости, – кормит кур в сарайке или возится в мастерской. Но труп, тихий и неподвижный, лежит рядом – и тяжелая волна горя, родившись внизу живота, внезапно дыбится во мне, перехватывая горло и выдавливая слезы. Папа – умер.

Мой папа умер!..

Мать собирает на стол. Скоро придут соседки, будет ясность относительно гроба. Деньги у нас есть, могли бы и купить, но не ехать же в Рыбинск за гробом. Соседки обещали матери решить эту проблему: есть какой-то местный столяр, который якобы сможет сделать гроб из своего материала. Если же этот вариант отпадет, то обещал помочь Коля Баруздин, сосед,

папин приятель. Самому мне – не по силам: ни столярного, ни плотницкого ремесла я от отца не унаследовал. Доску, конечно, я обстрогаю и шерхебель от рубанка отличу – но и только. «Безрукий».

Все телеграммы мать дала еще вчера. Андрюха, мой младший брат, возможно, припахан тещей на даче и поэтому может получить печальное известие лишь сегодня к вечеру – значит, его приезда можно ждать не раньше завтрашнего дня. Родственники матери (с отцовскими мы не знаем, не ведаем даже, где они живут) приедут, наверное, прямо на похороны. Похороны – послезавтра.

В ожидании завтрака листаю попавшуюся под руку книжку югославских врачей «Стенокардия». Лежит она тут явно не зря: отец интересовался своей болезнью.

«Как писал философ Сенека в письме к Луцилию, приступ этой болезни подобен грозе...»

Впервые такой приступ случился с ним лет семь тому назад – когда дом номер 15 по улице Новой, ставший свидетелем его предсмертной муки, высился еще на Скомороховой Горе, в Рыбинске, – а родители мои жили на казенной квартире, выделенной Глебовской санаторно-лесной школой. Точнее говоря, в бывших слесарных мастерских этой школы, приспособленных под жилье для воспитателей. Это была половина дома (за стенкой жили соседи) с печкой, сарайкой, двумя сотками земли под окном и роскошным видом из этого окна на величавый простор Волги, как раз в этом месте, под Глебовом, вытекающей из безбрежной холодной ямы Рыбинского моря. По этому-то простору, намертво схваченному январской стужей, по белой метельной речной долине медленно двигалась в тот давний день, семь лет назад, маленькая темная фигурка отца, провожаемая из окошка взглядом матери – той, вынь да положь, потребовалась тогда чистая прорубь для полоскания невесть откуда берущегося (они с папой уже давно остались вдвоем) белья...

Выбрав подходящее место чуть ли не посередине реки, отец расчистил валенками снег и, высоко подняв тяжелый лом-пешню, что есть силы ударил по темному зеркалу. И еще раз. И еще...

Словно молния врезалась ему в грудь! Бросив лом, он упал лицом в снег, выпучив глаза и открыв рот, с ужасом осознавая, что эта боль – не чета прежним: угрюмая, тяжкая, смертная боль.

Медленно-медленно, тихо-тихо, слушая свое дыхание, встал он через полчаса с колен, держа обеими руками, как минёр, свое ржавое сердце, – и побрел назад, ставя ноги в уже наполовину заметенные сухой снежной крупкой следы...

...папа, я бреду за тобой назад, я ставлю свои ноги в твои следы, я хочу узнать, какая это была боль, какая жизнь...

Но смогу ли я узнать истину? Быть может, мне откроется лишь внешняя цепь событий – документальная ложь, правдоподобный бред. Стены, отделяющие «сегодня» от «вчера», высоки и дремучи, даже ближние кусты полны злобного шипенья и треска, и нет попутчиков на темном пути в прошлое.

Сокрыто и «завтра». Один-единственный раз мелькнул вещий огонек на высоком берегу неведомой реки, один только раз вздрогнул, закачался и ушел под воду шаткий плот моей судьбы – была возможность задуматься, обеспокоиться и хотя бы попытаться что-то изменить в неотвратимом течении жизни. Но нет: я, страшно мнительный и суеверный человек, не сумел не только истолковать пророческое видение, но даже и понять, что оно – пророческое.

Отвел Господь! А ведь, может статься, истолкуй я сон правильно и предупреди столь же суеверную мать, надоумь ее не спускать глаз с человека, лежащего теперь на веранде со связанными руками и ногами, – и всё случилось бы иначе, не так, не теперь...

Но я только очнулся с колотящимся сердцем, включил свет, нашел карандаш, накарябал на листке бумаги несколько рваных предложений и, оттолкнувшись шестом от берега, поплыл куда-то по медленной темной реке на погружившемся в воду ненадежном плотике.

А маме был сон еще раньше – за три с лишним месяца до случившегося. В ночь на 14 февраля ей привиделась Дивная гора – селение под Угличем, где без малого сорок лет тому назад она, учительница тамошней восьмилетки, совсем молоденькая, но уже имеющая опыт и преподавания, и самостоятельного существования вдали от родителей, уже пережившая первое серьезное чувство (Петр Иванович Мельников, сын полковника авиации, ты помнишь Нину Ковалькову?) испытала острый приступ сострадания к полужнакомому, в общем-то, парню, Феликсу Чеканову, только что ставшему инвалидом...

– Хрен ли встал?.. давай!.. – заорал Васька Галактионов.

Мой будущий отец, только что «резнувший» вслед за напарником еще полстакана водки, мрачновато покосился в Васькину сторону, но ничего не ответил. Взяв из груды неокромленных досок верхнюю, он поставил ее торцом к завывающему ножу циркулярной пилы и толкнул «на ход». Заверещав еще пронзительнее, темное солнце ножа стало медленно отваливать кромку доски, отец же двинулся помаленьку вперед, следом за доской, прижимая ее сверху ладонью правой руки.

Ваське, принимавшему доску с другой стороны, захотелось ускорить этот процесс. Он дернул доску на себя – и папина рука пошла под нож.

Опьяненное сознание все-таки работало: в самый последний момент отец почувствовал неладное и отдернул руку. Но его пальцы уже летели и прыгали по трясущейся доске, словно городки, поднятые на воздух ударом биты. Васькин слюнявый рот изумленно открывался, истошно кричала пила, жизнь поворачивалась к Феликсу Чеканову неведомой прежде стороной.

Боли и крови не было. Он посмотрел на обезображенную руку, – большой и указательный пальцы отсутствовали, средний был разбит, – и громко, с оттенком какого-то злобного торжества, прокомментировал:

– Ну, всё – калека!..

– Я пожалела его... ой, как я, дура, его жалела! Ведь он пил страшно, валялся, где попало, со своей перевязанной рукой. А в школе-то как меня отговаривали: Ковалькова, опомнись, посмотри, в какую семью ты идешь...

...вот они, на старенькой фотографии с засвеченным краем, – мои мама и папа. Юные, улыбающиеся, глупые, еще не сказавшие друг другу тех слов, после которых в душах двух людей начинает медленно гаснуть серебристый вибрирующий звук – голос свободы, знак возможности всё переиграть, свернуть в сторону с открывающегося пути... О, тончайшее пение серебряной струны!.. о свободная воля!.. о, невозможность уйти от неизбежного!..

Веселые кудряшки мамы, светлая блузка, темная юбка, корзинка с грибами. Небрежная поза отца, залихватски нахлобученная черная шляпа, забинтованная культяпка, лежащая на цевье одностволки. Нет, это еще не мои мама и папа, это просто двое молодых русских людей в середине 50-х годов двадцатого столетия от Рождества Христова. Они улыбаются, они позируют – а Нина Баранова всё щелкает и щелкает затвором своего «Зенита», всё хохочет и подми-

гивает подружке, уже начинающей сердиться на такое бесцеремонное подчеркивание ее чувства.

Чувства жалости...

...ей привиделось то место на Дивной Горе, тот склон маленькой речки, где они, бывало, сжиwali вдвоем, устав собирать грибы. Лето, начинающее желтеть, тонкий, еле слышимый звон серебристой струны, – всё то же самое. Вот только они с папой – уже немолдые, пожившие, теперешние. И внизу, поодаль, в траве лежит дитя – плотно запеленутый ребенок. Оттуда, из белых младенческих одежд, доносится до матери ясный печальный голос:

– Вы расстанетесь...

– Мы знаем, что мы расстанемся, – отвечает мать. – Но и вы расстанетесь...

На этом видение обрывается, и мать просыпается в своей постели, в доме номер пятнадцать по улице Новой – шестидесятилетняя, мучимая болезнями и предчувствиями. И долго слушает жалобный вой февральского ветра, изредка прерываемый тяжелыми всхрапываниями мужа, спящего на соседней кровати. И долго гадает, к чему бы такой сон.

И не догадывается.

– Теперь я думаю, – говорит она неуверенно, глядя на меня голубоватыми выцветшими лепестками, – что это была ваша Олечка. Или сестра Феликса, Галя. Это они умерли во младенчестве. Которая-то из них предупреждала меня. А я, дура, не поняла. Это, наверное, была твоя Олечка...

Олечка?

Окно больничной палаты. Белый беспомощный силуэт моей жены. Отчаяние в родных глазах. Маленький – не больше метра – гробик у меня подмышкой. Небольшая грудка карминно-красного месива на столе патолого-анатомического отделения...

Да, мы тоже расстались...

Или это была другая маленькая девочка? стоящая на подгибающихся годовалых ножках посреди распухшего от голода сорок третьего года, обмотанная тряпьем, зареванная, замурзанная, тянущая исхудалые маленькие ручки к пустой материнской груди, – Галя, умершая во младенчестве сестренка моего папы, Галя Чеканова...

Господи, я знаю: ты упокоил их невинные душеньки, поселил их навечно в зеленом саду, среди птиц и цветов... Иначе – Тебя нет!

Нет!..

Мама не сумела разгадать ни этот свой сон, ни другой, тоже пророческий. За неделю до смерти папы она почему-то несколько дней подряд вспоминала председателя сельсовета с Дивной Горы, Александру Павловну Волохонову, доброго и справедливого человека, – и ей приснился сын Александры Павловны, Володя. Приснился таким, каким мама его помнила по Дивной Горе, – двадцатилетним, только что вернувшимся из армии. Он сказал ей:

– Еще два-три дня...

На этом сон-мгновение оборвался – и мама, проснувшись, истолковала его так: Александра Павловна тяжело больна и до конца ей осталось совсем немного.

«Боже, облегчи ее последние страдания», – мысленно попросила она.

Но сон предвещал иное...

...но почему же все-таки именно Дивная Гора вспоминалась ей в эти дни? – именно то место, где они впервые встретились с папой. Быть может, перед концом чего-то память всегда возвращает нас к началу?

Наскоро завтракаем. Я с беспокойством начинаю осознавать, что времени – в обрез, а у нас нет ни гроба, ни досок для него, ни обивочного материала, ни, самое главное, – мастера. А что, если соседи не смогут помочь? На дворе – теплынь...

– Мама, не вздует у нас его?... покойника-то...

– Не должно бы, – неуверенно отвечает мать. – Там, на веранде, прохладно. И марганцовки мы с Тamarой под стол поставили. Говорят, еще соль на живот кладут. Давай-ка, насыпем в мешочек...

Входят соседки: врач Тамара Борисовна, учителя и воспитатели санаторно-лесной школы Люба, Вера, Галина Яковлевна. В разговоре всё становится на свои места. Оказывается, дядя Миша, лучший местный мастер, обещал всё сделать – вот только бы он сумел вовремя «отойти от вчерашнего». Ну, а уж ежели он не проспится – тогда за дело возьмется Баруздин. Красного сатина для обивки гроба нам тоже обещали дать – правда, с возвратом, но и то хорошо, ведь в магазине ничего подходящего нет. Могилу будут рыть четверо – Сергей Вахромеев, тот же Баруздин и еще двое местных мужиков. Венки соорудят сами соседки, из лапника. Директриса местного продмага обещала продать на поминки водки по старой цене и чего-нибудь к столу.

«Господи, люди, дай вам Бог здоровья, какие же вы все хорошие, – растроганно думаю я, – Все-таки, деревня – не город, не эти скоты, всюду видящие только одно – выгоду...»

...заплаканный, всклокоченный, очумевший от страшного известия, бегу я по своей городской улице по направлению к вокзалу. До отхода ленинградского поезда остаются считанные минуты, даже бегом я не успеваю.

Голосую. Визг тормозов.

– Ребята, – задыхаясь, прошу я. – несчастье у меня. К вокзалу, а?

Ребята медлят. Их двое – молодые, спортивные, современные. В салоне звучит ритмичная музыка, в такт ей на цепочке покачивается пластмассовый чёртик. Выждав, ребята меланхолически осведомляются:

– Сколько?

Спустя секунду мы мчимся к вокзалу: цены мне известны, деньги у меня есть...

«Сколько»? Тысячу лет в геенне огненной, тысячу тысяч лет, – покуда ваши шкуры не станут тоньше настолько, что смогут чувствовать чужую боль.

Вот сколько!

Конечно, тут, в деревне, не всё так уж благостно – и здесь хватает всякого, в том числе корыстного, жестокого, злого. Но, при всем том, деревенские люди – другие. Что-то заставляет их, – Любу, Веру, Тамару Борисовну, Галину Яковлевну, их мужей, владелицу сатина, директора магазина и еще добрый десяток незнакомых мне мужчин и женщин, – не остаться безучастными к нашей беде, не оставить нас наедине с нашим горем.

Традиции? Далеко заглядывающий практицизм? Наверное, не без этого. Но важен результат: эти люди – другие.

Я не призываю разрушить город. Но я ощущаю потребность констатировать факт.

Дяди Миша «не отошел» – и Коля Баруздин, крепыш лет сорока, принимается за дело сам. Он приносит со своего подворья в папину мастерскую несколько досок, мы опиливает их по размеру, и Коля тут же берется за рубанок. Вскоре в мастерскую заглядывает другой сосед, седой и суховатый Юрий Федорович из дома напротив, – и предлагает кромить и фуговать доски в его мастерской, на более мощном станке.

«Всё делается»... Я, само собой, на подхвате, подай-принеси. Суечусь, стремясь, по возможности, избавить мастеров от черновой работы. Часа через два в дверях появляются первые родственники – брат мамы Володя и муж ее покойной сестры, Саша Волгин. Поздоровавшись и постояв в проеме, они тихонько уходят, а мы продолжаем сооружать гроб.

Баруздин строгаёт так истово, что весь наливается кровью. Самый близкий сосед (дом его стоит через дорогу), он был здесь, в Глебово, одним из самых близких отцу людей, частенько заходя к папе в мастерскую, они часами могли беседовать о жите-бытье, о политике. Папа нуждался во внимательном собеседнике, а Коля за интересным разговором перенимал еще и кой-какие хитрости столярного ремесла. Имел место и прямой «бартер»: Баруздины иногда снабжали моих родителей мясом по сходной цене, а папа сделал им прекрасные наличники и, кроме того, украсил фронтон соседского дома такими же удивительными деревянными птицами, какие глядели на прохожих из-под крыши его собственного...

...птицы – отцовская любовь. Он знал их по именам, он отыскивал в книгах их цветные изображения и сравнивал с теми, что прилетали под окно.

– Смотри-смотри, – кричал он матери, – вот это синичка-гаичка! Видишь? Гаичка!

Он рисовал птиц цветными карандашами в альбоме, писал маслом на фанерках, выпиливал лобзиком. Он сам был птица – бойкая, любопытная, интересующаяся всем на свете, любящая перелетать с места на место, птица-путешественница.

Но вот какая птица?

Как ни горько мне это осознавать, но – не щегол, не снегирь; скорее всего – ворона. Да, ворона – бедно одетая, крикливая обитательница свалок и помоек. Ведь именно она сидела на зеленых ветках той березы, в роще у деревни Ивановское, наблюдая за нашей печальной трапезой у свежерытой ямы...

Но эта ворона была не такая, как все!.. под смирным своим одеянием она таила жемчужно-пестрый, переливчато-ослепительный мир, она была чужой в черно-серой стае товарок, она глядела со своей помойки не в сторону другой помойки, а прямо в голубые небеса!..

День клонится к вечеру; гроб, наконец-то, закончен – и мы несем его на веранду, примерить. Получился тесноват – тело отца еле-еле умещается в нем. Но это еще полбеда; беда – мелка крышка. Сооружая ее, мы не учли, что руки покойного, сложенные на животе, своими кистями образуют холмик, и что этот холмик – окостенеет. Если бы руки лежали вдоль тела, крышка легла бы в самый аккурат, а так – мелка. А ведь, вроде бы, перед началом работы всё измеряли, прикидывали. Век живи – век учись...

Что же теперь делать? Сгоряча я беру лежащую сверху отцовскую руку (смертный холод ощущается уже и через рубашку) и с силой тяну, пытаюсь развалить холмик плоти. Не тут-то было!.. рука лежит на том же месте, не подвинувшись ни на миллиметр. Тяну сильнее – напрасно...

...мертвец сильнее меня!

...он и живой был сильнее. Я никогда не дерзал схватиться с ним всерьез – папа изломал бы меня. Ничего удивительного: он много работал физически, мускулы у него были литые. А я... что ж, тщедушный домосед, книжный червь...

Вот почему у меня рождаются одни только дочери – дабы приять силу со стороны. Наша родовая сила уже истощилась.

По крайней мере – во мне.

Крышку гроба приходится наставлять, на это уходит еще часа полтора. Наконец, обив гроб изнутри белой материей, а снаружи – красной, Баруздин с Юрием Федоровичем удовлетворенно отправляются по домам. Я наклеиваю на наружную сторону крышки вырезанный из черной фотобумаги православный крест, выношу ее на улицу и прислоняю стоймя к углу дома. Теперь издали видно, что в доме – покойник. Таков обычай.

Слава Богу и спасибо добрым людям – проблема с гробом отпала.

Ни Юрий Федорович, ни Коля не взяли за работу ни копейки денег. Мы с мамой, конечно, и не предлагали, боясь обидеть. Но я точно знаю – они бы не взяли. Ведь это не город. Это, слава Богу, русская деревня...

Снова – утро... Идем с мамой по цветущему майскому селу, среди чистой зелени и веселых, сияющих на солнце изб, переходим из проулка в проулок, спускаемся в глубокий овраг, перебираемся по дощатому мостику через ручей, поднимаемся по крутому склону. Это уже не Глебово, а Ивановское (практически сросшееся с Глебовым, но сохранившее отдельное название). Где-то здесь живет смотрительница кладбища, она должна показать нам место для рытья могилы. Маме примерно объяснили, где ее дом, но точно она не знает.

На улице – ни души, спросить не у кого. В растерянности стоим мы на пыльной дороге под горячим солнцем; затем мать нерешительно указывает на один из домов: кажется, тут... Я подхожу к калитке, дергаю за ручку – заперто изнутри. Кричать хозяевам? Неудобно... Иду к другому дому – та же история. Что же нам делать? Третий дом. Открываю калитку – и тут же прыгаю назад: по дорожке прямо на меня молча мчится здоровенный пёс-волкодав... Ничего себе, шуточки!

– Вам Нину Александровну? – кричат с огорода хозяева пса. – Это не сюда, а во-он в ту избу! Вы не бойтесь, там собаки нету...

На слабых ногах иду прочь, мать следует за мной.

– Как ты испугался-то, – говорит она удивленно, – побелел аж весь...

У «той избы», где живет смотрительница, бродит маленький мужичок лет тридцати, с пробивающейся кой-где бороденкой и выражением явного слабоумия на круглом лице. Увидев нас, он уклончиво улыбается и подмигивает; встретив прямой взгляд, косится в сторону. Я приглядываюсь к нему – и второй раз за сегодняшний день по моей спине пробегает холодок: дурачок чем-то неуловимо напоминает папу.

Да-да, те же очертания носа и губ... но главное – в прищуре глаз, в манере морщить лицо... Господи, что это? Кто это?

Во двор выходит ветхая старушка – и долго выпрашивает нас, кто мы такие и откуда. Удостоверившись, что всё в порядке, берет с завалинки падожок и кличет мужичка:

– Женька, пошли!

И опять я внутренне ахаю: его зовут так же, как и меня... А старушку – так же, как и мою мать... Что всё это означает? Неужели могут быть такие совпадения?.. а может быть, это какой-то знак мне, какое-то знамение? Но какое? К добру или к худу?

Увлеченный этими мыслями, бреду я позади всех, рассеянно прислушиваясь к разговору матери и смотрительницы. «Женька» – взрослый сын Нины Александровны, еще маль-

цом ребятишки бросили его в воду, с тех пор он не в себе. Пенсию она получает мизерную, живет тем, что дает свое хозяйство, да вот добрые люди помогают... («Мы вам дадим денег, дадим», – вставляет мама). Земля на этом кладбище хорошая, легкая, лежать будет хорошо, а копать надо на полтора метра, не больше. Места свободного много, в разных углах можно подобрать что-то подходящее, в последнее время хоронят частенько, всем надо угодить, всех проводить, показать, а уж годы не те, восемьдесят с лишком, но пока что Бог милует...

...певучий голос старухи обволакивает, с яркого неба брызжет огонь, сморщенное лицо моего отца улыбается, подмигивает мне, – и дикие, древние мысли гуляют в моей голове. – Папа, это... ты?

Он кивает, он подмигивает, он насмешливо косится на двух старух, идущих впереди: вот дурочки, ничего не понимают... но мы с тобой понимаем, верно? Только ты им не говори, будем знать это только ты да я, хорошо? Всё не так просто в этом мире, все совпадения не случайны, Женька, хорошо, что ты узнал меня. А эти-то... хе-хе-хе... они-то думают... ой, не могу, хе-хе-хе... но молчок, Женька, молчок!.. пусть об этом никто не знает...

И снова он косится в сторону, снова отводит взгляд, и снова оборачивается – смеющийся, шурящийся от яркого солнца...

Я кладу на себя крестное знамение – и страшным усилием воли стряхиваю морок. Ничего особенного не происходит. Двое женщин и двое мужчин идут по дороге к деревенскому кладбищу, светит солнце, жизнь продолжается, идиот хихикает...

...и огромные радужные круги плывут, медленно расплываясь, в его мозгу, и солнце, пробившее толщу воды, слепит судорожно выпученные глаза, и нечем дышать – и откуда-то изда-лека, с планеты Земля, доносятся испуганно-веселые крики мальчишек...

Вот здесь будет твое место, папа. Не в мерзкой загородной тесноте, среди ошетилившихся оград, под ядовитыми тучами, – нет!.. на высоком берегу великой русской реки, под всё еще голубым небом, в звенящей зеленой роще, у подножия белой березы. Птицы, любимые создания твои, будут свистать над тобой, легкие сухие ящерки будут греться на солнышке рядом с твоим холмиком, комары – звенеть... всё кругом будет жить. И скоростное шоссе останется в стороне.

И никогда не взойдет над тобой проклятая пятиконечная звезда.

«Да брось ты, Женька, – слышу я его голос, – какая разница, звезда ли, крест ли... Не верю я в эти символы. Я Пушкину верю:

И пусть у гробового входа
Младая будет жизнь играть
И равнодушная природа
Красою вечною сиять!

Вот вся правда, Женька, а больше ни хрена нету...»

После обеда идем с матерью за продуктами для поминок. Черный платок действует безотказно: мать всюду пропускают без очереди. Продавщица ведет нас в подсобку, мы берем мясной фарш, хлеб, водку, конфеты, расплачиваемся и благодарим. Провожаемые шепотком и взглядами женщин из очереди, выходим на улицу.

Мать довольна: всё идет как надо, в грязь лицом она не ударит. Горе – горем, а дело – делом. Эта черта – «ковальковская»; Чекановы – люди прямо противоположные. Нам – вмазать стакана два, рыдать и петь песни...

Впрочем, я преувеличиваю, конечно, столь резко отделяя ментальность представителей отцовской ветви моего рода от склада ума и души моих предков по материнской линии, явно утрирую, называя первых неисправимыми фантазерами, а вторых – сухими рационалистами. Такое деление, конечно же, условно, ибо опирается на произвольно сохраненные моей памятью эпизоды, а не на весь объем действительно происшедших в жизни событий.

И все-таки основа для такого произвола существует... Иногда я думаю, что причина этих отличий может быть такой: Чекановы, в отличие от Ковальковых, уже прошли стадию «рацио», стадию «умения делать жизнь», им интересна уже следующая ступень – «отражение», то есть изображение жизни. Они желают быть художниками, а не просто обывать свой крест...

Появляется мой брат Андрей. Он, как всегда, замкнут, углублен в себя. Побывав на веранде, возвращается точно таким же, каким входил туда; видимо, всё, что должно было произойти в его душе, уже произошло.

Известие о смерти папы застало его, как я и предполагал, на даче у тещи: сестра его жены принесла телеграмму прямо в поле...

День длится. Помогаем матери по хозяйству, обсуждаем план похорон. И всё время вслух вспоминаем папу – его поступки, слова, привычки. От этого нам как-то легче, извинительней перед покойным.

Волгина и Володи Ковалькова нет с нами – они, как выяснилось, были здесь с okazji: из Рыбинска в Глебово ехал какой-то знакомый Волгина, он и прихватил обоих. Заглянув в дом и убедившись, что мать уже не одна, они уехали обратно, посулив явиться прямо на похороны. Волгин, правда, обещал прибыть пораньше, привезти самогону и свежих огурцов с рынка.

То и дело забегают соседки. Одна говорит, что принесет яиц, другая – сметаны, третья даст на время поминок скамейки, стулья и посуду (ожидается человек тридцать, а мамина наличная утварь не рассчитана на такое многолюдье). Каждая соседка, заходя, считает своим долгом сказать что-то доброе о покойном, вновь пожалеть о безвременном его уходе, припомнить и повторить запомнившиеся ей его слова. Всё это – очень искренне, никакой фальши не чувствуется.

Все-таки папа, при всей его импульсивности и непредсказуемости, был в целом очень дружелюбным, открытым, добрым человеком. И это очень облегчает нам теперь его похороны: все идет нам навстречу и всё у нас получается...

...или это он сам, хорошо зная, что всё новое поначалу представляется нам неразрешимой проблемой, взялся «оттуда» руководить и этим, – печальным, но необходимым, – делом?

Не знаю, как оценивает себя Андрюха, а я вот смотрю на себя так: в сравнении с отцом, я – сушная бестолочь. Папа знал плотничье и столярное ремесло, рубил избы, слесарил, профессионально фотографировал, неплохо рисовал, писал маслом – даже стихи пописывал! – а я из всего этого умею делать более-менее хорошо только последнее. Ну, еще умею править чужие тексты и редактировать газеты – но разве это профессия? Кому это нужно?

Если бы мой отец, упаси Бог, попал однажды в тюрьму – он бы и там не пропал; а что стало бы в таком случае со мной? Страшно и помыслить...

Распространено мнение, что все дети считают себя умнее и талантливее отцов. Ничего подобного!.. я уверен как раз в обратном. Мой отец просто не осуществился, не реализовал своих потенциалов. Если бы он получил хотя бы мое, – никудашнее, провинциальное (в дурном

смысле этого слова) образование, если бы имел мое (сытое, обутое, одетое) детство в полной семье – кто знает, каких высот он достиг бы...

Конечно, ему не доставало терпения и усидчивости. Но это фамильное: мой дед, Михаил Андреевич, был таким же – горячо брался за любое новое ремесло, осваивал его начатки, но никогда не доводил до совершенства, быстро остывал, бросал начатое на полдороге. Однажды, в молодости, он решил научиться плести корзины. Изучил основные приемы, начал даже конструировать новые модели, но до ума дело так и не довел. В результате на чердаке избы скопилось, согласно семейному преданию, целая гора недоплетенных корзин...

Эти «недоплетенные корзины» – символ наших натур. Это – сами мы, Чекановы!..

...любопытно, что другой мой дед, отец мамы, Александр Иванович Ковальков, был как раз профессионалом-плетушечником. Плел корзины на заказ, на продажу, плел сотнями, если не тысячами.

Ковальковы вообще склонны к постоянному, кропотливому труду – и на саму жизнь смотрят как на такой труд. У Чекановых же другой идеал: придти, увидеть, победить!

Чекановы – изощрены, тонки, разносторонни. Ковальковы – проще, уже, но зато — надежней, тверже.

В общем, полная противоположность...

Возможно, мои родители, представители этих двух родов, ощущали подсознательно свою «неполноту» – и стремились устранить ее путем соития с носителем противоположной тенденции. Не знаю, воплотилась ли «золотая середина» в Андрюхе, но во мне-то уж точно нет. Во мне победили «Чекановы».

И моя натура, осознающая собственную ущербность, продолжила поиск: проходя через боль, через страдание, через трагедию, я искал еще более твердый и надежный корень.

Нашел ли я его? Об этом пусть судят мои потомки...

Весь вечер накануне дня похорон я перебираю папины бумаги. Немногочисленная переписка с властями, справки, рецепты. Рисунки пером в тонких ученических тетрадках. Чертежи наличников. наброски стихов... Всё то, на что я раньше обращал внимание разве что из любопытства, сейчас пронизано особым светом – смерть осветила и освятила всё. При жизни отца я непременно посмеялся бы вслух над орфографией его сочинений, над огрехами по части пунктуации, – теперь же я думаю о том, что для человека с семью классами за плечами и это – достижение; раньше, прочитав его стихи, я усмехнулся бы: «графомания, газетчина», – теперь я молчу.

Да, это – любительство, да – слепки с чужого... да, да, да... Но это писал мой папа!.. Мой папа, который позавчера умер и больше никогда ничего не напишет.

Как жаль – я стар. А был бы молод,
Я в битву кинулся б – туда,
Где звонче серп и выше молот,
Где есть поэзия труда,
Где нет насилья, принужденья, —
Как в муравейнике лесном,
Где труд приносит наслажденье,
Коротким прерываясь сном...

Это, конечно, отрывок тридцатых годов, с их «гимном труду», – но и против правды папа не идет: он и в самом деле был вечным тружеником, работал до последней минуты – и умер, поднимая выше пресловутый молот...

Он всегда интересовался политикой, читал газеты – и, естественно, многие строчки в этих тетрадках навеяны прочитанным. Хотя и в них проглядывает характер автора:

Что там светится в тумане?
Не ленись и погляди —
Это призрак на аркане,
С гегемоном впереди.
Призрак бродит по Европе...

Насмешка, поддразнивание – это «чекановское», это у нас в крови. «На аркане» – для рифмы, которая частенько тащит папу за собой, но образный ряд, на мой взгляд, намечен верно, да и сама попытка переосмыслить привычную символику могла бы оказаться плодотворной.

Его, однако, все время сбивает на рифмованную публицистику:

Нужна не только перестройка,
Нужна и сильная рука, —
Чтобы работала надстройка,
А не валяла дурака.
Позавели себе кареты,
Медали вешали на зад,
А умиленные поэты
В восторге ботали в набат...

Здесь любопытна последняя строфа. Коммунистов – а точнее говоря, власть вообще – папа недолюбливал всю жизнь; всё, что дискредитировало начальство, повторял с упоением, Брежнева презирал, – но так вели себя многие. А вот шпильку «поэтам» вставил бы не каждый. Сие объясняется просто: папа ненавидел лизоблюдов в творческой среде; поэт, кадящий власти, в его глазах был богоотступником.

«Демократом» он не стал, прозрел довольно скоро:

Отцы родные, демократы,
И либералы всех мастей,
Вас нужно срочно сдать в солдаты
И всыпать каждому плетей.
В казарме прапор краснорожий, —
С ним спорить будет не с руки, —
На Швейка рожею похожий
И, как у Ржепы, кулаки.
Он вмиг мозги любому вправит...

Этот Ржепа, прописанный «демократам и либералам» в качестве лекарства, в нашей семье упоминался частенько, – как символ устрашения. Фамилия персонажа бессмертного гашековского творения, сами звуки ее ассоциировались, видимо, одновременно с «рожей», «ржанием» и просторечным названием задницы, слово «Ржепа» вызывало восторг и ужас. Прекрасно помню, как папа крутил головой, повторяя:

– Фельдфебель Ржепа, сокрушатель ребер! Рже-па! Это надо ж так написать!..

Есть в отцовских тетрадках и строчки, написанные не без моего влияния. После того, как я начал интересоваться своей затопленной прародиной, изводить домашних расспросами о ней, писать и публиковать стихи об этом, папа вдруг осознал: то, что произошло лично с ним, с его семьей, его поколением, – может быть темой. И, узнав о том, что ходят слухи о будущем осушении Рыбинского моря, не преминул сочинить нечто своё:

Мне нужно очень сохраниться, —
На десять, на пятнадцать лет,
И лично в этом убедиться,
Что моря Рыбинского – нет.

А есть земля, где, босоногий,
В лапту жестокую играл,
Закон ее, довольно строгий,
Не постигая, отвергал.

И есть Шексна – такое диво,
И есть Глухая, «та река»,
И безымянная пролива
С копной кудрявой лозняка.

За той проливом – луга,
В озера облака глядятся,
И бесконечные стога,
Как войско русское, теснятся.

И лошадей табун пасется.
Ватага смелых удалцов
К нему стремительно несется,
Приняв уздечки от отцов...

Кроме недостатка грамотности (цитируя, я все-таки правлю орфографию и пунктуацию, уж простите великодушно), стихотворные упражнения отца на корню губит «общесоветский» ранжир: папа подражает, пусть и неосознанно, ладу и строю провинциальных виршей, в изобилии публикуемых местной прессой. Так случается даже тогда, когда он пишет о своем, о том, что волнует лично его:

Наверно, в каждой деревушке,
В селе и редких хуторах
Найдется по одной старушке,
Преодолевшей смерти страх.
Она обычно богомольна,
Словоохотлива, добра,
И жизнью, кажется, довольна,
И байку тянет до утра.
У ней почти всегда найдется
Бутылка красного вина...

Тема смерти его волновала, хотя самого факта ухода он, похоже, не страшился. Во всяком случае, мать не раз слышала от него, что во время приступов он думал: «хоть бы мне умереть...»

Но не только безысходность была тому причиной – помогало и «пушкинское», эпикурейское отношение к жизни. Папа жил по формуле: «Пить будем, гулять будем, а смерть придет – помирать будем...»

...собственно, меня и самого не так уж страшит невозможность уйти от неизбежного. Гораздо более волнует вопрос: не будет ли это (или – после этого) мучительно больно?

Я не хочу и не пытаюсь
Уйти в тот мир, где нет меня.
Но в этом, грешном, только маюсь...

Смерть – избавление от боли. Переносить страдание мужественно – всё труднее, душа бежит от страдания. Ради спокойствия он готов отказаться от возможной радости, даже от призрака ее:

Мне шестьдесят, а я влюбленный.
Но нет ответа на любовь.
Но разум мой – не возмущенный
И не волнует сердца кровь.
Всё пройдено и пережито,
Царапать душу не хочу...

...кто она – та, которой посвящены эти безнадежно-усталые строки? Люба? Вера? Чей милый взгляд и участливый разговор бередили в нем, шестидесятилетнем больном человеке, уснувшие чувства?

Я никогда об этом не узнаю...

В его стихах еще встречаются вечерние мотивы:

Потухло солнце за лесами
С последней песнею дрозда.
Над золотыми небесами
Беззвучно теплится звезда...

Но всё чаще возникает ночь:

Торжествует ночное светило,
Незаметно, а всё же плывет.
В чьей душе оно мысль разбудило,
В безграничный направив полет?

.....
Свет лунный, петляет дорожка...
Как зябко безглазой спине!
Скорей бы – лесная сторожка

И свет в одиноком окне.
Иду не спеша, без оглядки.
Чу! шорох, таинственный звук...

.....
Ночь, как год. В душе тревога,
Нет сна. Гляжу в окно:
Лунный свет и снегу много,
А вокруг темным-темно.
Недоступных звезд мерцанье,
Звон будильника в шкафу...

Он вглядывается в грядущую тьму, он гадает: а что там, за чертой?

Какое дело мне до рая
И до его святых ворот,
И до того, кто там карает
В грехах увязнувший народ?

Какое дело мне до ада?
И в черной копоти котла
Мне будет просто как награда:
Сгореть мгновенно и дотла...

Он отчетливо ощущает за собой путь, след, и в то же время чувствует, что впереди — новые странствия:

Куда летишь, падучая звезда?
Кому, зачем твой мимолетный след?
.....
Снова дальняя дорога.
Сколько их в моей судьбе!
Подожди еще немного —
Я навек вернусь к тебе...

Он просит подождать, оттянуть момент ухода, и память вновь возвращает его к началу:

Мое Березово родное,
Шексны крутые берега,
Земля, трава... да всё земное!
И заливных полей луга,
И вы, соломенные крыши,
Многоголосый стада шум, —
Я вас увидел и услышал.
Всё волновало детский ум...

...ну, естественно, я «пристрастен», «закрываю глаза на явные недостатки», и т.д., и т.п.
А вы чего хотели?

Что? Ваши отцы «тоже писали»? Что-то плохо верится. Будь оно так – у каждого из вас в красном углу, за иконой, лежала бы книжка, подобная той, какую вы сейчас читаете, – такая же, только про вашего отца, написанная вами... Но ведь не лежит!..

Нет, господа и дамы, ничего, ни-че-гошеньки не писали ваши отцы, они только «вкалывали», «трахались» да «лопали», ясно вам?

Да и... были ли они, отцы-то ваши, жили ли они на свете?

Ладно, простите великодушно. Сами понимаете: это я не вам, а «им» – не помнящим родства.

Может, хоть это подействует.

Есть в рукописном наследии отца и проза. Проза жизни:

«Здравствуйте, Геннадий Федорович (извините, мы с Вами лично не знакомы). Написать Вам это письмо меня заставили обстоятельства, без Вашего участия которые не разрешить.

Излагаю суть дела.

С 1954 года я, инвалид 3 группы (травма на производстве), до 1987 года, как и положено, получал пенсию. Начислялась она мне от моего заработка; если я зарабатывал больше, то пенсию мне выплачивали не менее 50% (это мне самому пришлось видеть написанным черным по белому в личном пенсионном деле – очевидно, это было узаконено для всех инвалидов 3 группы: сколько бы инвалид ни зарабатывал, а менее 50 % назначенной пенсии он не получал).

До 1986 года я работал в Глебовской санаторно-лесной школе. Мой заработок был 120 рублей, и я получал пенсию 38 рублей, потом я уволился и поступил работать в геолого-разведочную партию. Райсобес продолжал выплачивать мне пенсию по месту жительства – 38 рублей.

Проработав два года в геолого-разведке, я заболел (ИБС), дали мне 2 группу, и с этой бумажкой я пришел в райсобес. В райсобесе инспектор-женщина (фамилии я не знаю) спросила, чего я хочу, и сказала, что для перерасчета пенсии нужна справка о заработке за два года и что она с меня высчитает 50 % той суммы, которую мне переплатили.

Я эту справку ей принес, и когда мне была начислена пенсия (согласно моего заработка, а он оказался 257 рублей, а пенсия 120 рублей), то эта инспекторша мне заявила, что я должен ей выплатить 100 %. На это я ей заявил, что она сама же говорила, что 50 %, – она мне в ответ говорит, что я не связан с сельским хозяйством и поэтому должен выплачивать 100 %.

Разговор наш имел такое продолжение: она мне – «давай половину пенсии», я ей – «а на что я буду жить?»

Инспекторша «пожалела» и порешила удерживать из пенсии 26 рублей. Спрашивает меня, сколько я должен возратить в райсобес, я ответил (из расчета 50%): рублей 400. А она мне говорит, что 800 рублей.

Таким образом, я стал получать пенсию в размере 96 рублей в месяц. Прошел год, поехал я в райсобес, обратился к заврайсобесом, – молодая женщина, фамилии не знаю, – объяснил ей ситуацию (а у меня еще там случился приступ), и она мне вот что сказала: пенсия по 3 группе у меня была назначена от 166 рублей, а я зарабатывал у геологов 257 рублей и, таким образом, пенсия не выдается.

Нетрудно из моей писанины, Геннадий Федорович, понять, что райсобесовские работники закон государственный могут поворачивать, как дышло. Прошло уже два года, а может, и больше, по моим расчетам, свою задолженность я выплатил (а может, и перевыплатил)...

Письмо не закончено. Видимо, я нашел черновик, – а беловик был отправлен по назначению, поскольку тут же, на бланке с печатью, я прочел достойный ответ стража закона:

«Прокуратура СССР.

Прокуратура Рыбинского района Ярославской области. 28.02.90, № 100/90 щ.

Рыбинский район, с. Глебово, ул. Новая, 15, Чеканову Ф.М.

По Вашей жалобе разъясняю Вам, что, работая в период с 9.06.86 г. по 20.06.88 г. в Рыбинской инженерно-геологической партии Московской геолого-разведочной экспедиции, вы, как инвалид III группы, получали пенсию в размере 38 руб.22 коп., которая была начислена со среднего заработка в 162 руб.18 коп.

В соответствии с п. I ст.170 Положения о порядке назначения и выплаты государственных пенсий, инвалидам III группы пенсия выплачивается в таком размере, чтобы пенсия и получаемый заработок не превышали в общей сложности всего заработка, из которого была начислена пенсия, т.е. в данном случае 162 руб. 18 коп., при этом сумма пенсии выплачивается в размере 50% при условии, если заработок не превышает 120 рублей.

В геолого-разведке средняя зарплата у Вас оставила 257 руб.51 коп., и Вы не имели права получать пенсию. За весь период работы в геолого-разведке Вами было незаконно получено 876 руб.35 коп.

В соответствии с п. «Б» ст.178 вышеуказанного Положения, Комиссией по назначению пенсий при исполкоме Рыбинского районного Совета народных депутатов было вынесено решение о взыскании с Вас этой суммы с ежемесячным удержанием 20 % пенсии до погашения этой суммы (протокол Комиссии № 746 от 2.12.88 г.). К этому времени Вам был сделан перерасчет пенсии в связи с изменением группы инвалидности на 2 группу и изменением среднего заработка. Сумма ежемесячного удержания составила 24 рубля.

При проведении арифметического подсчета Вы можете убедиться, что вся сумма 876 руб.35 коп., которая Вами была получена в нарушение закона, Вами будет погашена через 36,5 мес. (3 года) после начала удержаний, которые производятся с февраля 1989 г.

Считаю Вашу жалобу необоснованной, потому что работниками районного отдела социального обеспечения в данном вопросе нарушений допущено не было.

Прокурор Рыбинского района, советник юстиции Г.Ф.Чуркин».

...я припоминаю, что папа не очень-то и расстроился, когда получил сей отлуп: не удалось доказать начальству свою правоту, ну и хрен с ним, жить ведь есть на что, по миру не ходим.

Но всё-таки он счел необходимым гневно воскликнуть:

– Нет правды на земле!..

А чуть погодя, по обыкновению, добавить глубокомысленно:

– Но правды нет и выше...

Великий поэт примирял его с действительностью.

Таблетки, склянки, тетрадки... Рисунки пером: чертежи парника, выющийся узор наличников; профили Ленина и Сталина; чье-то удивленное лицо. Набросок автопортрета: мрачноватый стареющий мужчина с обиженно поджатым ртом (скорее всего, эффект «обиженности» получился из-за недостатка зубов). Куст на пригорке и наезжающий на него паровоз. Нос лодки. Рухнувшее дерево рядом с растущим, крепким. И – птицы, птицы (в основном, совы) ... Материал для психоаналитика.

А вот санаторно-курортная книжка. Цхалтубо, санаторий «Геолог», март-апрель 1987 года, палата 208. Основной диагноз – остеохондроз поясничного отдела позвоночника. Отметки о приеме минеральных ванн, о грязелечебных процедурах, УВЧ...

– Там он сердце-то и испортил! – говорит мать убежденно, – на курорте-то этом. У него раньше сердце не болело. А как приехал после лечения, так и началось. Вот так вот, лечиться-то: одно лечишь, а другое калечишь...

– Это он еще у геологов работал?

– Ну да, на пилораме. Началось у него отложение солей, в бедре и в ноге при ходьбе стало болеть. А ходить-то велят вон куда – аж в Кабатово! Тут у него, на этой почве, распри с начальством начались: они его в Кабатово на работу посылают, а он идти не может, через полсотни метров у него «жать» начинается. Полечился в нашей больнице, в Глебово, да какое тут лечение... Вот тогда ему начальник геологов выхлопотал путевку в Грузию – поезжай, лечи свои ноги. Дала я ему денег, говорю: купи мне на толкучке ковер с оленем. Он привез. И еще носочки мне из козьей шерсти купил. И кофточку – правда, немножко не такую, какую мне надо. Я его всё ругала: зачем ты всего этого накупил? Двадцать четыре дня был там... Ну, так вот – там, в этом Цхалтубо, ванны были минеральные. Они опасные, эти ванны, в них область сердца погружать нельзя – да разве Феликс Михайлович когда кого слушал? Он по шейку в эту ванну залезал! Конечечно... ему там хорошо, приятно... будет ли он выполнять предписания врача!.. «вот хрен вам – а не предписание!..» Так и испортил сердце. Лежал он и в Рыбинске, в кардиологии, Лидка Липатова его уговорила. Вроде, подлечили, а потом – опять...

...эту «кардиологию» я помню – сам навещал там папу.

Он вышел тогда ко мне веселый, бодрящийся, сказал, что чувствует себя неплохо, что скоро его выпишут. А у меня сжималось сердце: я осознал вдруг, что мой отец – не просто старый, а еще и серьезно больной человек. Раз кладут в больницу – значит...

А вот фотография, сделанная в Цхалтубо, – отливающее неестественной синевой цветное изображение группы людей, кучно стоящих на фоне горного пейзажа. Среди стоящих – один присевший на корточки, в дурацкой шляпенке, с лицом, сморщенным в гримасе беззубой улыбки, – мой папа...

«Вы все стойте, а я вот присяду!..»

Лучшая из оставшихся фотографий отца – та, которую я отдал потом в ателье, для портрета на памятник. Это фото делал он сам – выбирал позу, ракурс, выражение лица, сам себя снимал (с помощью автоспуска), сам проявлял, печатал, наклеивал готовый позитив на картон и обтягивал его прозрачной пленкой... С портрета глядит на зрителя симпатичный, несколько франтоватый мужчина лет сорока, в сдвинутой на лоб зимней шапке и с сигаретой в руке.

Помню, сначала мне это фото не нравилось, казалось нарочитым: зачем эта сигарета? почему в шапке? Но, приглядевшись, я понял – папа хотел видеть себя именно таким: простым, с отчетливой особенностью, ни в коем случае не «тюхой-матюхой», за которого его подчас принимали. Шапка и сигарета стали теми деталями, которые он интуитивно использовал для подчеркивания этой особености. Хотя о главном, конечно, говорит лицо и, прежде всего, взгляд – цепкий, чуть насмешливый, одновременно и доброжелательный, и готовый к отпору, взгляд настороженный, непростой...

...этот взгляд находит меня сейчас в любом углу комнаты. То хмурится: «Опять дурью маешься?.. пиши давай!..», то улыбается, подбадривая: «Ну-ну, Женька, не трусь, не так страшен черт...»

Да, теперь я вижу, что отец был прав, когда сочинял, изобретал это свое изображение. Теперь мне понятно, что оно – точнее «не отрепетированных заранее», ибо гораздо лучше говорит о папиной душе – сложной, непредсказуемой, игровой душе выдумщика...

«Выдумщик» – это звучит серьезно. Любое художественное творение человека есть миф, выдумка, все творцы – мистификаторы. И это очень хорошо. Ибо если мы будем доверять одной скучной «правде», то не узнаем главного о человеке и мире, не узнаем, какими они хотели бы быть, какими стали бы при других обстоятельствах... Да, стали бы!.. если бы Господь дал возможность человеку и миру всё переиграть, свернуть в сторону с открывающегося пути, – мы убедились бы в этом.

Что же такое «правда»? Случайные фотографии! Фотографии, запечатлевшие нас «не лучшими», «не полными», ущербными. Да, именно так: некрасивость правды вопиет об ее ущербности, указывает на недостаточность только смирения с правдой, одного только приятия ее, – и прямо говорит о необходимости стремиться к идеалу. Пребывающему, конечно, за пределами человеческой жизни, но – могущему быть воплощенным. Где? В творениях искусства, конечно. В «выдумке»!

Так думаю я, глядя на отцовский портрет.

Приехал Волгин. Уже с порога он начинает, по обыкновению, балагурить, травить какие-то анекдоты; голос его кошунственно громок. Мать, с одной стороны, довольна, что он приехал, – дядя Саша человек практический, толковый, от него можно ждать реальной помощи в любом деле; но с другой – раздосадована его манерой поведения, не изменившейся ни на йоту даже в этот печальный вечер.

К Волгину нужно привыкнуть. Поначалу он производит впечатление чрезвычайно наглого, бесцеремонного ухаря; привыкнув же, начинаешь ценить в нем главное – открытость, прямооту, неспособность к подлости. Человек страшно деятельный, мастер на все руки, – и плотник, и столяр, и токарь-универсал, – он пережил уже двух жен: мамину старшую сестру, Шуру, и вторую, которую я никогда не видел.

Несмотря на свои почти шестьдесят лет, дядя Саша крепок, кряжист, в силе. Если бы папа был жив, то неподдельно обрадовался бы его приезду...

«Он любому радовался, – слышу я голос матери, – любому, кто приезжал. Особенно, если с бутылкой...»

Волгин привез, как и обещал, самогону и огурцов. Он тут же включается в общие хлопоты – чистит картошку, режет мясо; одновременно рассказывает бородатый анекдот.

– Слышь, – гремит он на весь дом, – старик-то пред образами молится: «Господи, укрепи и направь», а старуха-то на печи другое: «Господи, да ты только укрепи, а уж направить-то я и сама направлю...»

Он раскатисто хохочет – и мама не выдерживает.

– Саша, замолчи, – говорит она звенящим от подступающего рыдания голосом, – замолчи, а то я заплачу...

Волгин, наконец, осознает, что его поведение бестактно – и, крякнув, понижает тон. После паузы заводит подходящую к ситуации речь, – о болезни и смерти, – и мать успокаивается.

– Да!.. вот она, жизнь человечья, – приглушенно рокошет дядя Саша. – То же самое и нас всех ожидает. А что сделано?... много ли? Построил два дома, вырастил двоих детей – и пора на тот свет... Обидно!

– Мало Феликс пожил, мало, – вздыхает мама. – Чего!.. шестьдесят два года, возраст ли это! Мог бы пожить еще лет пять... да хоть и все двадцать! Жил бы себе да жил... Это всё этот, – злобно говорит она вдруг, – Семенов этот... У-у-у, гадина проклятая! Это он его довел. Вот ведь как: не любил он его, а именно у него на коленях и умирал... как нарочно!

– Один еврей, – начинает Волгин, – тоже умирал, слышь; собрал семейство и говорит...

Вечер длится. Часов в десять садимся за стол, мать ставит бутылку, выпиваем за упокой души Феликса Михайловича, разговариваем. За полночь в дверь стучат, я выхожу открывать – на пороге стоит высокий лысый мужик. После конфузной заминки выясняется, что этот тесть Андрухи, Николай Александрович. Я его видел раньше всего раза два – немудрено, что не признал.

Снова выпивка, разговор. Андрухин тесть и дядя Саша вмиг находят общий язык, на «слесарной» почве. Спать им не хочется: разбирают и точат мясорубку, потом принимаются готовить котлеты.

Часа в два я ухожу спать. Мужики все еще курят и беседуют.

Мотоцикл простреливает насквозь гулкое утреннее село. За рулем – Сережа Вахромеев; я и еще двое мужиков – в коляске, а точнее, в деревянной тележке. Едем копать могилу.

Утро – свежее, бодрое, зеленое; день обещает быть знойным. В кладбищенской роще – комариный стон, шепот листьев, пятна света. Без перекуров и долгих приготовлений мужики приступают к работе. Земля тут и вправду «легкая», яма быстро уходит в глубину. Вскоре, однако, копать сразу в несколько лопат становится неудобно – и Баруздин залезает в яму один.

Мне, как сыну, рыть могилу нельзя. Смотрю на растущую гору суглинка, слушаю Сергея, который убежденно доказывает мне правоту буддистов.

– Как может человек умереть? – вопрошает он. – Этого ни в одной религии нет, а древние не глупей нас с вами были. Все религии говорят: человек бессмертен. И все-таки глубже всего этот вопрос разработали буддисты. У человека, говорят они, не одно, а семь тел...

Сменив уставшего Баруздина, Сергей забирается в яму по плечи, из-за горы земли его не видно. Вместе с комьями из ямы вылетают прерывистые слова-вздохи:

– ...а в тонком мире – астральное тело. Этот тонкий мир всю землю окружает, это как бы такой ореол вокруг всей планеты. Сейчас еще Феликс Михалыч туда не попал, сейчас его душа – в эфирном теле. Она встречается со «светящимся существом», просматривает свою жизнь...

– Да, – поддерживаю я разговор, – об этом у Калиновского написано...

– И Калиновский, и Моуди – это всё популярные изложения, – доносится из могилы. – А вот «Агни-Йога» и «Бардо Тёдол» – это уже серьезные труды. Вы не читали «Тибетскую книгу мертвых»? Вот там всё по дням расписано – все скитания в «тонком мире», все кармические видения...

Мужики, вместе со мной слушающие рассуждения Сергея, только головами крутят от такой учености. А сам он, видимо, рад, что нашел подходящего слушателя. Из ямы слышится:

– ...только дня через три-четыре он осознает, что он мертв... Тут-то оно и начинается, пребывание в Бардо. Духовное тело скитается там сорок девять дней, пока не найдет себе новое материнское лоно. Вообще, «Книга мертвых» трактует так, что самое лучшее – не родиться снова, постараться остаться в том мире. Но это мало кому удастся, в основном, все рождаются опять и опять. Это – Сансара, колесо рождений...

...и ни слова о Христе не слышно на месте будущего погребения, никто из копалей даже ни разу не перекрестился – словно православие никогда и не заглядывало в эти места.

Да, но разве эти люди – бездуховны? разве сам факт их присутствия здесь, их добровольной тяжелой работы – не показатель их принадлежности к тому царству человеческого единения, где нет ни эллина, ни иудея? И разве мой папа, не крещеный и не веривший в Иисуса Христа, не будет спасен?

Если – нет, то зачем мне такая вера? А если – да, если человек, не умеющий перекрестить лба, тем не менее, добр, честен, праведен, то...

«То зачем нужно христианство?» – думаю я вдруг.

И тут же поправляю сам себя: нет, наверное, именно века христианства и сформировали наш народ вот таким – некорыстным, милосердным, отзывчивым к чужой беде. А семидесятилетние гонения на русскую православную церковь уничтожили у нас – или почти уничтожили – одну лишь обрядность и прочую внешнюю атрибутику православия. По глубинной же своей сути мои соотечественники – и сейчас те же самые, какими были до Октябрьского переворота. И все эти увлечения чужими верованиями – лишь нечто временное, наносное, не затрагивающее наших душевных основ...

Могила готова – и мы садимся в траву под березой, дабы «обмыть это дело». Водка не пьянит, только теплая волна на минуту накрывает меня с головой – и, схлынув, уходит куда-то. Говорим о Феликсе Михайловиче: будь он сейчас с нами, уж непременно опрокинул бы стопочку, с удовольствием поболтал, обсудил все эти вопросы. А быть может, он и в самом деле сейчас где-то здесь, рядом? Ведь тут, на майской земле, так славно веет сейчас теплый ветер, так плавно качаются зеленые ветки, так добры и чисты грубые лица людей, только что соорудивших последний приют для оставленного душою праха. Сядь с нами, папа, подними стопку любимого яда – выпьем за твой вечный покой, за твое избавление от земных страданий...

Черный комок мелькает среди зеленых веток, остроклювое любопытное существо глядит не мигая на нашу трапезу... кыш!

Смотри-ка, она не боится, она и не думает улетать. Стоп, мужики, не будем ее пугать, не надо. Быть может, это совсем и не ворона, не только ворона... Папа-папочка, немного дал тебе Бог – ту же черную фуфайку, ту же перелетную судьбу. Что делать!.. получаем то, что заслужили. Не улетай, побудь с нами еще немного, покачиваясь на ветке и нацеливаясь круглым своим зраком на кусок черного хлеба...

В последний путь... Раскаленное небо, слепящее солнце, белые клубы пыли. Натужный рев мотора, остолбенелые лица встречающих, палисадники, наличники, крыши. Расплавленный слезящийся диск, черные силуэты деревьев, серые окна, лица, глаза. Каменные скульпы покойника.

Лица братьев матери – круглые, мелкоглазые, заячьи. Автохтонное население Верхневолжья, угро-финны, племя весь, – вот кто мы такие. «Обряд погребения у племени весь». Или так: «Мимика, выражающая горе, у представителей племени весь».

Завывание мотора, пыль, зной. Вот так однажды повезут и меня. Еще не скоро. А этих уже скоро. О чем они думают, качаясь в кузове грузовика и держась друг за друга на шаткой лавке?

Вот, Феликс умер... Нина одна остается. Дом, видно, продавать будет. Дом-то хороший, большой, тысяч сто пятьдесят дадут. А может, и все двести. Да что сейчас на эти деньги купишь... Рановато помер Феликс, рановато. Что делать, сердце изнашивалось. Касьянов год. Все там будем, не минует.

Застывшие лица встречающих. Кого это хоронят-то? А!.. это того мужика, у которого дом-то с птицами. Так ведь он же не больно и старый был. Больной? А-а-а... А дом-то у него хороший, большой, – продавать будут теперь, аль нет? Это жена сидит, а рядом-то сыновья, видать. Без музыки нынче хоронят – знать, дорого...

Лицо отца – холодный тесаный камень. Твердо сжаты губы, в бескровных чертах – выражение собранности и решимости. На что ты решился, папа? Я вижу – ты уже далеко от нас, далеко-далеко...

Не жмет ли тебе крестик? Я все-таки надел тебе его, уж прости, снял с себя и надел, а веревочка оказалась коротковата, сразу врезалась в шею. Прости меня, ты, может быть, был бы против, но я все-таки надел...

Последние поцелуи. Уверенная речь «представителя общественности». Стук земли о крышку гроба. Всё, как у людей.

Поминки. Люди идут и идут, не хватает места. Милые, так вы все любили папу? Дайте, я вас поцелую! У всех налито? Давайте помянем Феликса Михайловича. Валера, Сережа, Коля, спасибо вам за всё, куда бы мы без вас... выпейте!

Да, хорошая смерть, легкая смерть. Сам не мучился и других не мучил.

Нет, как же это так? Ведь я с ним совсем недавно разговаривал, он и шутил, и смеялся, как всегда... как же это?

И к каждому-то он умел подход найти, такое слово сказать, чтобы человек заинтересовался... И о политике мог поговорить, и о деле, интересно было с ним... Не плачьте, Нина Александровна, дай Бог каждому так уйти. Детей вырастили, дом у вас прекрасный...

Спасибо вам, добрые люди, что вы пришли и помогли нам. Дай вам Бог счастья за ваши добрые слова и дела, за помощь.

Вот и всё. Теперь я могу лечь навзничь и провалиться во тьму. «Поминальный обряд племени весь» завершен.

...когда я могу позволить себе напиться до бесчувствия – всегда напиваюсь. Хотя вообще-то к спиртному меня не тянет, месяцами могу не пить. Все-таки зачат я был в трезвости и выпивать начал очень поздно, это сказывается...

Совсем не пить? Но ради чего?

Встаю совершенно разбитый, мятый, со страшной головной болью. Долго не могу подняться с постели, вяло одеваюсь, с трудом отвечаю матери.

Время – восемь часов вечера; все, кто приходил на поминки, уже разошлись по домам, мамыны родичи вместе с Андрюхой уехали на последнем автобусе. Посуда вымыта, лавки и табуретки унесены. Мать наливает мне горячего чаю – и я, мало-помалу, оживаю.

– Пошли, погуляем, – предлагаю я. – Погуляем, поговорим...

Мать соглашается.

Медленно идем вечерним селом, удаляясь от центра к лесу. Сумерки; кой-где на небе поблескивают звездочки; тепло и тихо. Мама в который раз рассказывает о подробностях папиной кончины, пытаюсь угнездить в своем сознании новость, резко меняющую ее жизнь.

– ...а Баруздин говорит: надо унести его домой. Тут у кого-то были носилки медицинские, вот на этих носилках унесли его домой, положили на крыльце. Коля говорит: надо его обмыть да одевать, а то заостенеет. Решили не мыть, – он недавно из бани, – а только обтереть мокрой тряпкой. Баруздин его раздел догола, снял с него свитер, носки, «гамаши» – он в последние годы всегда тепло одевался. А Тамара Лесовая с Толей – обтерли. Коля мне говорит: ищи белье чистое. Дала я новые трусы, майку, рубашку, достала новый серый костюм. Расческу положила в карманчик, носовой платок новый. Коля говорит: давайте его вытащим на веранду. Вынесли стол из передней комнаты и поставили на веранду, положили Феликса на него. Рот полотенцем подвязали, а то он был полуоткрыт...

Врач-то пришел только через два часа после смерти! Я ему говорю: а могла бы я спасти его? Вот если бы я что-то сделала такое, чтобы он очнулся, да еще пожил, а? А он мне говорит: не терзайте себя. Если бы, – говорит, – его даже оживили в этот раз, он бы недолго прожил. Такие больные после реанимации живут год-два...

Ну, пришли еще люди... Галя Баруздина дозвонилась до Рыбинска, до какого-то вахтера, а тот позвонил тебе. Любе я дала все адреса, она пошла телеграммы давать. Всё делалось...

Тамара Лесовая сидела со мной до твоего приезда. Потом ты приехал, пошел к Феликсу на веранду, поплакал...

На улице уже совсем темно, да и зябко – вечерняя свежесть превозмогла тепло мая. Идем с матерью по окраине села, под яркими звездами, я обнимаю ее за плечи. Какая же она маленькая и слабая!.. как она будет без папы?

От выпитого на поминках меня всё еще пошатывает, голова прямо-таки раскалывается. Вяло слушаю мать, рассказываю сам – о том, как получил горестное известие, как спешил на вокзал, ехал в поезде, плакал в тамбуре, как бежал через ночной лес...

Возвращаемся домой, пьем чай. Дома тихо и тепло, всё на своих местах, ничего не изменилось. Да и что могло измениться? Сидим с мамой на кухне, за столом, – и говорим, говорим...

Далеко за полночь кто-то стучит в окно. Ледяная дрожь мгновенно пробегает по моему телу, я сразу трезвею. Выхожу на улицу, словно в космос; мать за мною... Кто тут?

...озаренная сбоку слабым зеленоватым светом месяца, в черной тени сарая горбится чья-то фигура.

– Дай Феликса помянуть! – глухо требует пропитой женский голос.

– Нет!.. нет, не надо ее, я ее знаю, – шепчет мать гневно, – это пьянчужка местная. Ходит, просит... иди, иди отсюда!

Фигура молча поворачивается и бредет к калитке.

– Нет, нет, стой! – кричу я отчаянно. – Сейчас, сейчас дам помянуть!..

– Не надо, не надо! – хватается мать меня за рукав.

– Ты что, – яростно шепчу я, – не дай Бог! Ни в коем случае! А вдруг это... ты что? Это Бог посылает, нельзя!

Опрометью метнувшись в избу, подсакиваю к холодильнику, наливаю стопку водки, хватаю кусок хлеба и возвращаюсь на улицу.

– Помяни, помяни папу, – со слезой говорю я. – Помяни Феликса Михайловича!

– Ничего не Бог... – ворчит мать, уступая. – Всяким подавать...

«Синюшке» охота поговорить. Долго рассказывает о своем сыне, тянущем очередной срок, то и дело благодарит меня, обдавая перегаром. Наконец, уходит восвояси – и я, облегченно вздохнув, запираю двери. Мать ворчит; но я несколько не сомневаюсь, что это был знак от папы, своеобразная проверка. И я ее выдержал – поступил так, как непременно поступил бы он сам в подобной ситуации.

Измученный тяжким днем, ложусь на отцовскую постель. «Папа, приснись, – шепчу в темноту, – приснись мне. Как ты там, папа? Приди ко мне, Расскажи... папа, милый...»

...серый сарай-дровяник, тусклый свет из засаленного окошка; за окошком – груда бревен, на бревнах – черная собака. До собаки метров пять-шесть.

«А ведь я могу коснуться ее руками, не вставая с места», – мелькает в моей голове. Но не руки, а две гудящие, вибрирующие силы выходят из моих плеч, легко проникают сквозь стекло, движутся к собаке...

Собака исчезает. Но я уже понял, каким свойством теперь обладаю. А ну-ка, еще раз... Вон деревце растет за окном – смогу ли я заключить его ствол в кольцо моих пальцев?

И вновь мои «руки», – две вибрирующие мощные струи, – гудя, проходят сквозь невредимое стекло, и я смыкаю свои кисти вокруг тонкого ствола.

Значит, я могу... всё? И – летать?

Лежу на спине, – нет, не лежу, а лечу куда-то, головой вперед, подхваченный могучим потоком. Мое тело – конусовидный, еле слышно гудящий, вибрирующий цилиндр длиной

метра три-четыре и диаметром около метра – этакий могучий катер, послушный малейшему моему желанию.

«Ну, вперед...» – думаю я.

И стремительно возношусь, словно на качелях, – вперед и вверх, наискосок, легко проходя сквозь потолок и стропила крыши, – вперед, в ночную тьму...

И тут же ужас охватывает меня. А вдруг я не сумею остановиться и меня зашвырнет в неведомую глубину, в дальний мрак?.. Стоп!.. Назад!

Могучие качели швыряют меня обратно – сквозь темную даль, сквозь стропила и потолочные бревна... Да, я могу летать! – сквозь всё на свете, на тысячи километров, куда захочу... Что же это такое?.. кто я?

И вот опять меня несет куда-то... куда? Куда-а-а-а...

Просыпаюсь от собственного хриплого крика – и рассказываю сон дремлющей на соседней койке матери, – чтобы не забыть утром. А в голове стучит: так вот чем ты занят, папа... Ты осваиваешь новое тело, новый мир. Тебе сейчас не до нас, у тебя другие проблемы, ты родился для новой жизни...

И все-таки на мгновение ты убрал дремучую стену времени и показал мне, как там, и что. Спасибо, папа, теперь я знаю...

Если хоть одна из моих дочерей будет после моих похорон сильно жалеть обо мне, будет плакать и, засыпая в слезах, попросит меня придти – я тоже непременно это сделаю. Изловчусь, упрошу, умолю – но уберу проклятую стену и покажу дочери что-нибудь из той жизни... Пусть знает, что небытия – нет!

Небытия – нет, есть только боль перехода, муки нового рождения, страх перед новым, непонятным и опасным миром, в котором придется быть. Но ведь таких миров, быть может, мириады... Так что же – каждый раз, переходя из одного в другой, мы обречены кричать от ужаса, представляя, что падаем в бездну небытия?

Нет, – это удел не знающих, удел бестолочей, ничему не учащих и не желающих учиться. Брошенные в очередную судьбу, они вопят и жалуются, не умея ее принять, не умея понять, за что она им дана, за какие и чьи грехи и ошибки. А ведь интуитивно они, наверняка, чувствуют, что послужило причиной. Почувствовать очень легко: это – там, где больнее и труднее всего, где страшнее всего. И вот, вместо того, чтобы, смирившись с данной, исходной позицией, двинуться по грязной и тяжелой дороге вперед, к свету, – они опускают руки и ждут смерти. Но смерти нет, просто их отбрасывает всё дальше и дальше во мрак, унижение и боль...

Мне ли кидать в них камни? Я ведь и сам только сейчас, ближе к сорока годам, прихожу к этим мыслям – и даже до сей поры сомневаюсь в них. Но моя жизнь, чем дальше, тем чаще, полнится подтверждениями именно этих идей, – идей бессмертия души, идей существования греха и воздаяния за грех, – и как же не поверить опыту жизни? Чему же тогда верить – чьим-то словам, книгам? Но ведь это – чужой опыт! А верить можно только своему...

Жизнь идет; на другой день я уезжаю к себе в Ярославль, оставив маму на попечение Андрея, взявшего двухнедельный отпуск. И – урывками, между еженедельными поездками по своим коммерческим делам и выполнением роли няньки при полуторагодовой Дарье, начинаю писать эту повесть. Со смертью отца во мне рухнула какая-то преграда, не позволявшая ранее взяться за это, и я пишу – вечерами, ночами, по утрам, в любую свободную минуту. Пишу, рву написанное, снова пишу, снова рву, переписываю... Постепенно устанавливается стиль – вот этот, петляющий, то и дело убегаящий в сторону, – стиль реки. Через какое-то время я осознаю жанр будущего сочинения – это будет нечто в духе «Старомодной истории»

Магды Сабо или катаевского «Кладбища в Скулянах», – но другое, со своими акцентами и своей сверхзадачей.

И я пишу, пишу...

Длится лето 1992 года; справляем девятый день, потом сороковой; мать начинает привыкать к одиночеству. Сначала мы строим планы немедленной продажи дома и переезда матери в Ярославль, ко мне, – но вскоре отказываемся от них. Причин много: в разгаре гайдаровская «шоковая терапия», деньги обесцениваются с каждым днем; моя жена не в восторге от совместного житья со свекровью. А главное – мама осознает, что жить в городе не так уж и сладко, особенно в нынешнее сумасшедшее время. Она решает пока что остаться в Глебове – тем более, что и без переезда у нее забот полон рот: дом, огород, куры...

В каждый мой приезд к матери мы ходим с ней на могилу папы – поливаем цветы, обмахиваем тенёта с венков, подолгу сидим у низкой оградки, разговариваем, вспоминаем. Я выпиваю стопку водки, другую ставлю на папин холмик. Здесь, среди берез, – благодать: тишина, покой, зелень. Единственное неудобство – комары, но мы уже к ним притерпелись.

Боль утраты поутихла, уступив место печальному смирению, – и всё чаще в нашу печаль вторгаются неожиданные улыбки, ибо папа «начал шутки шутить». В высокой траве рядом с оградкой мы обнаруживаем вдруг три замечательных белых гриба: один стоит отдельно – это, конечно, «мама Нина», а два рядышком, поменьше – это «Женя с Андрюшей». Такая игра бытовала в нашей семье лет тридцать тому назад, когда мы с Андрюхой были маленькими, – и так напомнить о ней мог только папа...

В другой раз он «шуткует» не столь ласково: после того, как мать, чуть-чуть выпив и разговорившись, начинает, прибирая могилу, вспоминать какие-то обиды, нанесенные ей покойным, она сильно ударяется ногой об ограду.

– А не критикуй, – говорит она сама себе, морщась от боли, – вот тебе, старая... Да, здорово, Феликс Михайлович, ты мне... – она ищет слово поточнее и, наконец, заканчивает фразу редким в ее устах матюжком.

Я помалкиваю, хотя внутренне согласен с отцом: ругать покойного, да еще на его могиле, – грех.

Папа начинает сниться маме. Сразу после похорон, дня через три, она видит сон-мгновение: папа молча сидит на стуле возле ее кровати. Это видение кладет начало длинной череде встреч. За день до сорокового дня он снится ей сидящим за кухонным столом, на своем любимом месте.

– Я не умер, я жив, – слышит она. – А то, что случилось, – это сон...

Затем загробные встречи идут полосой. То она едет с ним на каком-то пароходе: он спит прямо на палубе, и так плохо, бедно одет, что у нее сжимается сердце от жалости и стыда. Пароход подходит к пристани; «Дементьево, Дементьево», – говорят все кругом, и маме с папой тоже надо сходить на берег. То вдруг он снится ей в зимней одежде, хотя на дворе еще теплая осень, и она недоумевает, к чему бы это, – а через несколько дней выпадает ранний снег и наступают холода.

Порой она даже не видит его, только ощущает его присутствие... Постепенно она привыкает к мысли, что он действительно где-то здесь, рядом, – и это ощущение переносится ею в явь.

– Ну-ко, Феликс, давай помогай! – бросает она в пространство, когда что-то не ладится. А затем, попозже, тянет удовлетворенно:

– Ну, во-о-от... это дело мы с тобой одолели, Феликс Михайлович...

В мои сны отец приходит редко. В начале июля я вижу его впервые после похорон: он сидит за столом вместе со своим отцом – моим дедом Михаилом Андреевичем; они о чем-то

спорят. Я пытаюсь принять участие в их разговоре, но они не разрешают, гонят меня, – и я просыпаюсь. «Покойники тебя к себе не пускают», – замечает моя жена, – это хороший сон.

А 3 августа, в полдень, я ложусь отдохнуть на любимый диван и, мгновенно забывшись, вижу летнее Глебово и старую родительскую квартиру при санаторно-лесной школе...

...стою в темных дверях; дверь на улицу открыта настежь, дверь в дом – тоже; так мы спасаемся от невыносимой жары. Мама – дома, в комнате; я разговариваю с ней, одновременно краем глаза наблюдая за окнами, которые мне видно через дверной проем.

– Так папа-то что – не придет? – спрашиваю я.

– Да не знаю, – откликается мать, – может, и нет...

Но тут же, заметив в одном из окошек мелькнувшую фигуру, я восклицаю:

– Да вон он идет!

В сени входит папа – загорелый, довольно бодрый, хотя и усталый. Я обнимаю его, целую, – и во все глаза гляжу на него. Так он вернулся?

Он высвобождается из моих объятий – и проходит в дом, на кухню; я – за ним. Из всех сил всматриваюсь в его черты: какой он? Тот же самый, или?.. Он ли это?

Он, кажется, тот же самый... но вдруг, прямо на глазах, начинает меняться. Причем изменение это выражается во всё более усиливающемся сходстве со мной самим – таким, каким я себя привык видеть в зеркале: те же глаза, нос, рыжая борода...

Двумя холодными руками папа берет меня за горло – но не душит, а только держит. И вдруг начинает по-бабьи, с мамиными интонациями, жаловаться мне:

– Да вот, милый ты мой, шутка ли... от такой-то ерунды... и не болел ведь уж очень-то сильно, а вот, поди ж ты...

Он жалуется мне на то, что он умер, он говорит, что ему хотелось бы еще пожить...

И тут я просыпаюсь. Голова моя лежит на диванном валике, в чрезвычайно неудобном положении, шея болит. Рассказываю сон жене, пытаюсь сразу же, по ходу дела, растолковать увиденное. Согласно Артемидору, воскресающие покойники сулят тревоги и убытки. Это-то ладно, к тревогам и убыткам нам не привыкать, но вот что может означать «узнавание в покойнике себя», «выслушивание жалоб покойника»? Этого у Артемидора я не нахожу...

Хотя разгадка так проста!

Порой меня самого удивляет та пристальность, с какой я всматриваюсь то в беглые эпизоды дневной жизни, то в смутные ночные видения. Неужели я и впрямь уверен, что всё происходящее со мной наяву и во сне имеет еще один, тайный смысл, который надо разгадывать?

Не знаю... Но уже давно не могу отделаться от ощущения, что моя жизнь, вся целиком, от рождения до смерти, уже где-то, кем-то сочинена – и я обречен проживать ее, перемещаясь со страницы на страницу неведомого мне текста.

Но если это и впрямь так, если моя судьба придумана неким «творцом», то... то ведь в ней не должно быть случайностей! Такие мастера не допускают погрешностей: каждый шорох травы здесь обязан быть наполнен смыслом, каждое висящее на стене ружье должно однажды выстрелить, все реплики и эпизоды приговорены перемигиваться между собой, любая картинка – что-то символизировать...

Если это так, если моя жизнь – не «случайная фотография», а произведение великого Автора, – тогда я прав: в нее стоит вглядываться до рези в глазах, вслушиваться до боли в ушах.

А если нет?

Всё осталось на своем месте – там, где было, и где пребудет. То же майское солнце льет предвечерний ласковый свет на избы и проулки села Глебово, тот же молодой алкоголик под-

ходит, пошатываясь, к дому номер пятнадцать на улице Новой и, грузно навалившись на теплый штакетник, окликает хлопочущего в огороде хозяина. Сейчас тот пошлет его подальше и, высоко подняв тяжелую кувалду, что есть мочи грохнет ею по железной трубе. И еще раз. И еще... Но у меня больше нет сил смотреть на это.

Мне надо плыть... Я не знаю, что ждет меня впереди, что за сила влечет меня в путь, у меня шаткая опора – всего лишь пачка листов бумаги, исписанных моим торопливым почерком. Когда-то, много лет тому назад, Господь надоумил меня потратить один из летних отпусков на запись воспоминаний отца и матери, я истомил, измучил родителей ежевечерним «залезанием в душу», но, в конце концов, последние скобы были вбиты – и маленький плотик закачался на волнах. Теперь я могу шагнуть на него и, оттолкнувшись от берега, поплыть по беззвездной реке. Он ждал меня всё это время, он сухой и прочный, мой плот, – он должен выдержать!

Да, кругом тьма. Я лишен способности видеть, я слеп. По запаху ветра и вкусу воды невозможно ориентироваться; кроме плота, реки и собственного тела, мне нечего осязать; остается только слух. Я должен научиться слышать этот мир.

Что я стану делать, когда шест перестанет доставать до дна, когда незримый водоворот закружит мою опору и я перестану понимать, в какой стороне берег? Мели, перекааты, бревна-топляки, встречные суда... тысяча препятствий может возникнуть на моем пути!

Но мне пора. Прощай, твердый берег, прощай, оранжевое окошко, горящее во тьме. Тихо плещет вода под ногами, пружинят бревна, сырой воздух холодит лицо. В моих руках – длинная жердь, я упираюсь ею в дно... поехали...

Резкий толчок! – и, потеряв равновесие, я едва удерживаюсь на ногах. Плотик тяжелеет, оседает – я чувствую, что вода доходит до щиколоток.

Это – папа. Он поплывет со мной.

1993-2021

«Судовой журнал “Паруса”»

Николай СМИРНОВ. Запись 25. Спорок с шубы

Дочка, студентка, позвонила по телефону и – со слезами: ботинки, которые на прошлой неделе купили ей в Ярославле на рынке за 400 тысяч, оказались с браком: ботинок один лопнул. Это треть моей месячной зарплаты или месячная жены, а ей уже зарплату пять месяцев задерживают. Дочка сильно расстроилась, пошла на рынок к торговцу, а он извернулся: я отремонтирую за свой счет. А зачем нам они, отремонтированные?..

Пошла от торговца домой – мужик продаёт щенков. Возьми девушка за две тысячи. Она отказалась. Бери так! С расстройства, не подумав, зачем – и взяла одного и про ботинки забыла, принесла домой к хозяйке, где живет на квартире. А потом и к нам в мартовский выходной привезла.

Дворняга всю ночь скулила, спать не давала. Сегодня жених дочери понёс его топить, а навстречу мальчишка:

– Бери собаку!

– Бесплатно? – удивился мальчишка и взял.

Как в сказке: первый встречный – от Бога. А, может, и выдумал, чтобы не огорчать: отдал на прокорм диким зверям. У нас в городе в эти дни приехал зоопарк: разместился на площади, в кольце фургонов. Иду мимо – вой, как в лесу. Звери у них, говорят, голодные; на волков посмотрел и – не узнал, какие они жалкие, точно прибитые, меньше собачонок.

До восемнадцатого века жизнь в крупных городах мало отличалась от жизни во глубине России. Да и теперь наш мир-народ уездный, чем-то еще похож на тот, что жил в девятнадцатом, крестьянском веке. И заботы те же, и бились так же в бедности и лихих делах; будто встречая знакомые лица, читаешь разные записи еще и допетербургских лет. Но удивило меня, как сумасшедший царь, убивший родного сына в 1582 году, посылает на помин загубленных душ в Ферапонтов монастырь: «Да по Иване и Игнатье и по семидесяти человекам опальным, побитым крест золотой с камнями, да шубу во сто рублей, в помин царевича Ивана шестьсот рублёв. Да по убитенному сыне, по царевиче Иване Ивановиче, спорок с шубы венецианского бархату с петлями золотыми да бархату лубского, да сани с хомутом с песцовыми хвостами, и полость, и барсовый тюфяк, да по сыне же царевиче Иване Ивановиче, ожерелье, терлик, седло бархатное с камкою и четырнадцать рублей».

Представилось, с каким лицом: у раскаявшихся людей ведь у всех образ схож – согнувшись, хмурый, остроносый, в отчаянии Иван Грозный перебирает этот спорок с шубы венецианского бархату с золотыми петлями, – а душа его глубоко, будто утонула в теле. Тоска плоская, давящая, как книжный пресс – готовая расплющить. Его, царя, в этот час будто и нет, так он раздавлен и хватается за спорок с шубы, чтобы хоть вещами – закрепить себя, наметить, обозначить, что он есть, что сын, Ваня, был...

Некто Максим Иванов дал в монастырь по дочери своей, девице Евдокии, десять копеек, именины её – 14 марта. В этот день у нас в городе сырой, раскисший на улицах снег, такой шел, наверно, и тогда, в восемнадцатом веке, в сороковые годы. Кто она, эта Евдокия? Отчего умерла?.. Её как и не было... Нет, было – сидел на лавке Максим Иванов, потом вынул из сундука серебряные монетки, копейки, завернул в тряпочку и тут вспомнил – как она однажды, маленькая, побежала в лес к озеру, и там за межей, отойдя от большого пня, заблудилась... У неё глаза серо-синие, и на круглом лице маленький рот с удивленно поднятыми вверх краями уголками, как у плотвички...

И теперь не думайте, что их будто не было – просто отошли они и заблудились и скоро найдутся, и мы с ними встретимся у нездешней межи... Вот и эта запись тихая, но плывучая пусть закрепит память о Евдокии, что она была, есть и будет. И еще узнаю я о ней когда-нибудь у самого у Максима Иванова и увижу тот лес за большим пнём, где она плутала, и её следы. Почему так невыразимо томит какое-нибудь незнакомое встречное лицо? Потому что за ним таится личность вечная, а не одна внешность со шлейфом вещей, распылившихся во времени...

Ну, девочка Евдокия – из восемнадцатого века, а давно ли в соседнем поселке пропала четырнадцатилетняя девочка, рассорилась с родителями, мать сказала ей: надевай пальто! а она выбежала раздетая. Пока мать одевалась, убежала, думали, пошла к подруге. Было это 27 сентября с субботы на воскресенье. Нашли лишь 2 октября, поблизости, через дорогу, в леске, на моховом клюквенном болоте: ноги холодные, сырые – застыла. Погода стояла дождливая, короткий день сумеречил рано: буро-золотой лес вокруг – как в призрачном видении или сне; родители сходят с ума...

Другая девочка тринадцатилетняя из села, Маша, тоже ушла из дома прошлой зимой на Волгу с собачкой и санками, лёд еще не окреп, на середине – полыньи, собачку везла на санках. Она, как установили по следам, не раз переходила середину, фарватер, точно нарочно искала полынью, след и оборвался у полыньи, утонула вместе с собачкой. Но сначала не поверили, подумали, что она скрывается у кого-то из знакомых. Так и в милиции долго убеждали: найдется...

Современный вымирающий городок, и в нем чиновник мелкий, думает о ботинках, о том, как дочку обманули и как она шла по рынку и увидела щенка, пожалела, как себя, обманутую торговцем... про пальто смертное девчоночье думает, санки, спорок с шубы... Почему мы так жалеем людей через вещи?.. Откуда эта печаль земных вещей?..

Может быть, когда люди будут любить вещи, деньги и себя больше, чем Бога, тогда, перед Страшным судом и падением звезд – вещи гневно сорвутся со своих гнезд, мстительно оживут, перестанут терпеть страсть и жадность к ним людскую – и обернутся в страшные личины наших овеществленных страстей. А грешные души тогда, изменившись, лишатся свободы, станут живыми вещами, но сознание им в наказание будет оставлено. Станешь сосной или травинкой, спорком с шубы, десятью копейками или пачкой из-под сигарет – наступят на тебя, и даже знать не будут, что ты всё-всё чувствуешь и, как тебе все время больно, больно, больно...

«Человек на земле и на море»

Вацлав МИХАЛЬСКИЙ. Мимоходом

(рассказ)

Она всегда ездила в Москву и из Москвы в плацкартном вагоне: во-первых, гораздо дешевле, чем в купейном, – на ее профессорскую зарплату в купейном не наездишься, а во-вторых, как-то спокойнее – в плацкартном открытое пространство и всё на виду, а в купе – мало ли на кого нарвешься – и деться некуда. А ездить туда-сюда ей приходилось два раза в неделю – институт, в котором она преподавала, был на севере Москвы, а город, в котором жила, почти на триста километров западнее.

В тот вечер она, как обычно в поезде, пыталась уснуть хоть на часок и думала обо всем понемногу: то о группе, в которой пела в студенчестве, то о богатом цыганском доме, в который ходила учить хозяйских детей музыке. Дом был не просто большой и богатый, но и подчеркнуто помпезный. Огромный телевизор в этом доме стоял на спине согнувшегося в три погибели бронзового раба. Почему-то об этом телевизоре с диагональю метра в полтора и о согбенной бронзовой скульптуре величиной с человека средних размеров она сейчас и думала. А вот дети богатея были по-настоящему способные к музыке и прилежные в учебе.

– Вот здесь вам будет удобно, и если что – я всегда под рукой, – сказала, судя по голосу, молоденькая проводница, вводя в отсек грузную пожилую женщину в длинной черной юбке до пят, толстой шерстяной кофте и поверх черного шерстяного платка черной бархатной шапочке.

Благодарно кивнув проводнице, новая попутчица с трудом улеглась на противоположной плацкарте, закрыла глаза и заснула как по команде.

«Монахиня, – подумала она о попутчице и стала вспоминать, как называется ее черная бархатная шапочка. – Как-то она называется? Я ведь слышала и читала у классиков. Как?» Нет, не вспомнила и тоже задремала.

Стук колес под полом вагона приглушал энергичное посапывание внезапно уснувшей монахини, и оно не только не раздражало, но даже как бы и убаюкивало ее, навевая память о тех временах, когда она была совсем крохотной девочкой, и бабушка Шура катила ее куда-то под мелким армавирским дождиком в коляске с поднятым верхом. Катил и приговаривала: «Скоро год нашей Ильке, скоро год!» С тех пор она и запомнила навсегда и этот серый дождик и смутно видимое за его завесой бабушкино лицо, и особенно рельефно полосу света, вдруг взявшуюся ниоткуда и пролегшую наискосок через струи дождя. Эта светлая, искрящаяся по краям полоса света из ниоткуда в никуда всегда была для нее загадкой – и в детстве, и в юности, и сейчас, в зрелые годы. Так что если бы ее спросили: ваше первое впечатление в жизни? То она бы ответила: живая полоса света среди серого, как будни, дождика. Увидеть в своем воображении эту полосу света вновь всегда было для нее добрым предзнаменованием.

«Время идет, а полоса света всё та же – значит, будет и у меня еще что-то хорошее», – подумала она, и тут же на боку ее попутчицы зазвонил мобильный телефон. Та нашарила его в кармане кофты и заговорила, не поднимаясь.

– Алё? А я без вещей. Да, вещи насельницы потом машиной привезут. И тебе, миленькая, Ангела-Хранителя, и тебе. Да, всё милостью Божьей, всё милостью. Испроси благословения у батюшки Арсения, непременно испроси. Да, а как же, меня насельницы тамошние будут встречать, а как же...

Разговор неожиданно прервался. Монахиня покрутила в отекающей руке черный кнопочный телефон, потрясла им, еще раз сказала: «Алё?»

– Здесь так бывает, – утешила она монахиню, – бывают места по дороге, где связь обрывается.

– Бог с ней, со связью, – равнодушно сказала монахиня, с трудом присаживаясь на полке и поправляя надетую поверх платка маленькую шапочку из черного бархата, ворсинки которого даже чуть-чуть поблескивали в желтоватом сумраке вагона, видно, бархат был очень хорошей выделки.

Взяв со столика свой пластмассовый контейнер с листьями салата, она принялась есть.

– Ты не из Рерихов будешь? – неожиданно спросила монахиня, и голос у нее теперь был не елейный, как при разговоре по телефону, а грубоватый, отрывистый, из тех, о которых говорят «командный».

– Нет.

– А то приезжал к нам один такой Рерих – тоже всё капусту жевал.

– А куда это – к вам?

– В монастырь, куда же еще.

– Да, конечно, вы ведь монахиня.

– Нет, я игуменья, – сказала попутчица, еще раз поправляя на голове черную бархатную шапочку.

– Игуменья – это ведь главный человек в женском монастыре?

– Люди, деточка, все главные.

Помолчали.

– Поёшь? – цепко взглянув в лицо попутчицы маленькими серыми глазами из-под густых, очень широких и совершенно седых бровей, спросила игуменья.

– Что вы имеет в виду?

– Песни поёшь?

– Пою. А откуда вы знаете?

– Так я не знаю, я спрашиваю. Вижу, ты бы и у нас в хоре пела. А насчет себя скажу, как есть. Меня за штат вывели, и вот еду переводом в новый монастырь.

– А как называется ваша бархатная шапочка? А то я думаю-думаю и не могу вспомнить.

– Камилавка.

– Спасибо. Камилавка – теперь запомню. А вы уехали, чтобы не мешать новой игуменье работать?

– А ты не глупа, – усмехнулась старуха, – приятно отметить. Зови меня Анной.

– Спасибо, Анна, а я Ирина. А как у вас эта камилавка на голове держится?

– Да проще простого – две шпильки-невидимки к платку – и держится. А ты любопытная, значит, пока молодая.

Еще помолчали в свое удовольствие, а потом матушка Анна продолжила беседу.

– У нас такой порядок: когда тебя выводят за штат, ты имеешь право выбрать во всей России любой монастырь и доживать там свой век. А мне не надо далеко ехать, мой любимый район поблизости, там прошла моя комсомольская молодость. Ты молодая, небось, комсомол и не помнишь?

– Помню немного по школе.

– Да, а у меня там райком был. Я чего на поезде – в машине меня теперь укачивает. Да и этим поездом я, бывало, в Москву ездила на совещания, на пленумы, на съезды – вот и захотелось напоследок проехаться, как в молодости, – плацкартом, вспомнить тот стук колес, те запахи, то наше гоготанье – всегда компанией ездили, и всё было смешно, и здоровье казалось вечным, да я его просто не замечала. Бывало, слышу, старые все спрашивают друг друга про давление: «У вас какое давление?» Слушала и думала: и чего они бормочут, чего может давить – ерунда какая. По медицинским учебникам знать знала, а в ум не брала. Я ведь фельдшерско-акушерское училище окончила, с красным дипломом, а не что чтобы просто дурочка с

переулочка. Чужая боль не болит – это все только к старости осознают, на собственном опыте. Да, у меня тут райком был, а монастырь уже при новой власти восстановили из разрушенного.

– А вы с игуменьей нового монастыря знакомы?

– А как же, она, как и я, бедовая была – мастер спорта по конному спорту, а по работе – химик, где-то на закрытом заводе трудилась под Горьким, который сейчас Нижний Новгород.

– Так вы бывший инструктор? У моего папы один знакомый был комсомольским инструктором. Подержанными автомобилями торговал, а потом, как пришла новая власть, вдруг в начальники выбился и разбогател, говорят, у него в Англии и дом, и замок с башнями, и сам он там поселился.

– Да, что скрывать, – вздохнула Анна, – прохиндеев среди наших хватало, особенно они развелись в последние годы советской власти. Прямо на ходу подметки рвали... Раньше говорили: смело города берет. А у нас получилось – не смелость, а наглость и бесстыдство. А твой папаня чем торговал? – с ехидцей спросила игуменья.

– Мой папа – военный летчик-испытатель.

– Прости, деточка, прости меня, злоязыкую, всё не успокоюсь, – очень искренне сказала матушка Анна. – Летчик-испытатель – это не шутки, это настоящий человек, без подделки. Прости меня, Господи! – Матушка Анна троекратно перекрестилась, и тут Ирина впервые обратила внимание, что на широком отечном запястье попутчицы висят короткие четки с черными камешками.

– Я, Ирина, была секретарь райкома – по идеологии. Но это ты не поймешь, сейчас идеологии у вас нет. Большое удобство для жуликов. Поэтому ее и нет.

– Матушка Анна, включите хоть уют и оттуда услышите, как всё у нас хорошо и прекрасно, а вы говорите – нет идеологии. С утра до вечера по телеку барабанят.

– Ты, деточка, не путай пропаганду с идеологией. Идеология – это шкала ценностей, духовных ценностей и перспектив развития общества. Идеологии у нас нет. Ладно, давай о чем-нибудь другом.

– Вот вы едете в новый монастырь, а там ведь есть игуменья, значит, вас будет две?

– Нет, две не будет. Я за штатом, и у меня никаких служебных полномочий, а зваться я буду игуменьей – это так. Вот ты учительница, по книжке твоей английской вижу – английского языка. Так?

Ирина кивнула в знак согласия – она ведь к своей профессорской зарплате, действительно, еще и подрабатывала репетитором. То, что игуменья увидела в ней учительницу английского, было правдой, хотя и не всей – она еще давала уроки игры на гитаре – ведь на одну профессорскую зарплату сейчас семью не прокормишь.

– Так вот, – продолжала игуменья, – а теперь вообрази, что ты не училка, как вас детки зовут, а профессор. Да, профессор, но уже не читаешь лекции, потому как по старости тебя за штат вывели, а почетное звание профессора за тобой остается на всю жизнь. Понятно?

– Понятно, – смутилась Ирина, которой уж очень не хотелось козырять перед игуменьей своим профессорством.

Помолчали под стук колес. В дороге со случайными попутчиками и говорить, и молчать легко.

– А вы до того, как в свой райком пошли, были фельдшером?

– Да, я фельдшерско-акушерскую школу окончила, ну, это ты слышала. С первого курса много подрабатывала в роддоме, а с третьего стала в училище комсоргом, ну, и пошло-поехало. После училища сразу направили меня в Москву в ВКШ – Высшую комсомольскую школу – Вишняки-Владычино, может, слышала?

– Нет, как-то не приходилось.

– Я детдомовская, к общественной жизни привычная.

– А родители? – робко спросила Ирина.

– В войну погибли, я их не помню. Так что я с малства общественная. А как в монастырь пошла? Это длинная история – вот заедешь когда-нибудь меня проведать, тогда и расскажу.

– А насельницы – это кто?

– Монашки.

– А послушницы?

– Это кандидатки в монахини, их берут с испытательным сроком на один год. Дают послушание – работу.

– А трудницы кто? А то я слышать слышу, а знать не знаю.

– Трудницы – это которые приезжают в монастырь поработать, кто на время отпуска, а кто на субботу и воскресенье.

– А такие есть?

– Сколько угодно. У меня одна трудница Нина Михайловна – замечательный врач, настоящий, больничный – всегда приезжает и всем готова помочь в любую минуту, всех выслушает, всех, кого надо, простучит, лечение назначит.

Помолчали. Игуменья Анна перебирала четки. И время от времени взглядывала на Ирину из-под широких седых бровей, хотя и выплывшими, но всё еще как будто бы молодыми глазами человека в ясном уме и твердой памяти. Смотрела, смотрела и наконец сказала:

– Я вот смотрю на тебя сейчас, Ирина, и вижу в душе твоей свет – новый, тайный. Он мало к кому приходит, ты его береги, но молчком. Поняла? И ни слова, ни полслова про свой интерес... он у тебя настоящий.

– Хорошо, – дрогнувшим голосом, чуть слышно проговорила Ирина, застигнутая врасплох тем, как точно угадала игуменья состояние ее души.

– А «свет» и «свят» – один корень...

– Не знаю. Может, и один, – сказала игуменья.

Помолчали.

– А зачем человек из Рерихов в ваш монастырь приезжал? – спросила Ирина, чтобы перевести разговор.

– А он ко мне приезжал. Говорит: земля слухом полнится, что вы целительница. А я ему: да какая я там целительница – просто фельдшер-акушер, ну, кое-когда кое-что еще и душой угадываю – только и всего. А народу много не надо, народ чуда хочет – другой надежды у народа нет. Вот всякая малость и кажется людям целительством, особенно женщинам, так и про меня говорят. Не от того, что я такая, а потому, что у людей надежды очень большие. Думаю, что они и спасут Россию. Вера, Надежда и Любовь – другой защиты у нас нет.

Помолчали. Игуменья прилегла и вмиг заснула, а минут через пять-семь проснулась, села и сказала:

– Конечно, и мы не ангелы были, но не такие пустые и смрадные, как эти. И лицемерие было, и ложь, и доносительство, всё было, но мы хоть на словах призывали к хорошему, а эти первым делом слово рушат, наверное, их большие командоры знают, что «вначале было слово», вот и пихают свою английскую писанину куда ни попадя. Далеко смотрят, черти склизкие, да Россия всё равно вывернется, я это знаю, как «Отче наш».

Вагон сильно качнуло.

– Как на стрелках кидает, – сказала игуменья, – дорогу пора ремонтировать. – И неожиданно добавила: – А я в миру веселая была, три раза замуж выскакивала, а деток Бог так и не дал.

– Хм... – улыбнулась Ирина. – И я третий раз замужем. Бывают же совпадения – кому расскажи, не поверят!

– А как же, – сказала игуменья Анна, – на совпадениях мир держится. А не поверят те, кто жизни не знает, чего с них взять. А то, что мы с тобой по три раза выходили, – это и не наша вина. Правда, я всегда как-то впопыхах выходила и не то что бы через силу, но и не то что бы...

даже не могу сказать как – как-то так, мимоходом: раз и в дамки. Да-а, мимоходом. Всю жизнь бежала-бежала и всё наспех, всё мимоходом, всё некогда было остановиться и оглянуться, как-то так... пока в монастырь не ушла. А родную душу встретить – большая удача, мало кому дается. А обоюдную родную – вообще редкость, может, на сто тысяч раз бывает. Но мы об этом уже говорили. Да, так я сейчас думаю. Не по чину мне так думать, а я так думаю. Прости меня, Господи! – Матушка Анна троекратно перекрестилась.

– Спасибо, – сказала Ирина, – вы первая так мне говорите. Спасибо.

– Не переживай, деточка, не мучайся. Если дал тебе Бог новый свет в душе, не пренебрегай им. Всё приходит и всё уходит. На всё воля Божья. Спой лучше мне что-нибудь хорошее. Я когда-то в казачьем хоре пела, я ведь с Дона. Эх, молодцы донцы!

– А я родилась на Кубани. У вас донцы, а у нас кубанцы. Я тоже когда-то в вокально-инструментальном ансамбле пела.

– Так спой.

– Люди спят, ничего?

– А ты тихонько – не вполголоса, а хоть в четверть – у меня слуховой аппарат швейцарский, я услышу. Спой тихо-тихо.

Ирина собралась с духом и запела:

По Дону гуляет,

По Дону гуляет

Казак молодой.

А дева там плачет,

А дева там плачет

За быстрой рекой...

Ирина знала, что эта казачья песня может быть хороша и без инструментального сопровождения, а капелла.

Игуменья хорошо слышала чистый голос Ирины, а под полом вагона четко стучали литые колеса:

Донцы!

Кубанцы!

Донцы!

Кубанцы!

– Спасибо, уважила, – сказала игуменья, выждав, когда в желтоватом сумраке вагона растаяли последние звуки песни. – Славно ты поешь, а я так уже не могу.

– Но ведь могли.

– Могла, – уверенно сказала игуменья, и ее большое лицо осветила почти молодая улыбка. – Могла!

– Я два раза в неделю этим поездом езжу, и одна попутчица испанскую поговорку мне сказала: «Никто у меня не отнимет то, что я уже станцевал».

– Хорошая попутчица, молодец. И поговорка правильная, за это тебе еще раз спасибо.

– Матушка, – заглянула в отсек проводница, – через десять минут ваша станция.

– Спасибо, миленькая, за заботу.

Проводница кивнула и ушла к себе.

Помолчали.

– Быстренько я с тобой проехала, – сказала игуменья, – так и жизнь пролетает: начало и конец, а середины как будто и не было. С каждым годом всё быстрее и быстрее.

– Да, как говорила моя бабушка Шура: «Заснула девочкой – проснулась бабушкой». Раньше я ее не понимала, а сейчас начинаю понимать.

– Ничего, деточка, всё наше – и прошлое, и настоящее, а о будущем одному Господу Богу известно.

– Матушка Анна, а вы не обращали внимание, что, когда переезжаешь с одного места на другое, жизнь как бы увеличивается. Новые пространства как бы растягивают время. Как думаете?

– Пожалуй, это так, но я не задумывалась, – отвечала игуменья, – о многом мы не задумываемся. Я это только в монастыре поняла, в своей новой жизни.

– А вы во сколько лет ушли в монастырь?

– В сорок четыре.

– Ой, и мне сейчас сорок четыре, – испуганно сказала Ирина.

– Ну и что? Это раньше испокон веков говорили: сорок лет – бабий век. А сейчас так не говорят. По нынешним временам – это еще молодость и даже не вторая, а первая. Да ты и не монастырская, ты мирская, и свет у тебя в душе, вот что главное. Живи смело и радостно – так я тебе желаю. Захочешь навестить – приезжай, монастырь тут все знают. Давай, ты ещё номер скажи. Я в свой телефон потыкаю, и у тебя мой зазвонит.

Ирина диктовала цифру за цифрой, игуменья нажимала кнопки своего телефона толстым указательным пальцем, нажала позвонить, но звонка не последовало.

– Не звонит, – удивилась игуменья, – я правильно набрала – посмотрите?

– Правильно, – посмотрела Ирина, – но здесь так бывает. Провалы связи на дороге. Давайте я вам позвоню.

Игуменья назвала свой номер. Ирина позвонила, но тоже безуспешно. А поезд тем временем сбавил ход, замелькали в окне размытые огни станции.

– Давайте, матушка, я помогу вам сойти, – появилась в отсеке проводница.

– С Богом, деточка, – перекрестила Ирину игуменья, – живи смело, но молчком. Ты меня поняла?

– Да, – едва слышно проговорила Ирина и благодарно прикоснулась виском к плечу монахини.

Вагон резко бросило в сторону, матушка Анна покачнулась всем своим грузным телом, но Ирина успела удержать ее, крепко обхватив обеими руками.

Тут же на помощь подоспела и молоденькая проводница.

– Как тормозят – безобразие! – горячо возмутилась проводница. – Спят, спят, а потом – бац по тормозам!

Проводница повела игуменью под руку, а Ирина пошла следом за ними.

В тамбуре было холодно, и колеса под полом лязгали громко, с шипением – поезд подошел к перрону и, наконец, остановился. Проводница открыла тяжелую металлическую дверь, опустила металлическую ступеньку – резко пахло в лицо почти ледяной ноябрьской свежестью. Проводница помогла игуменье сойти на землю и весело сказала:

– Счастливого вам всего-всего, матушка!

– А тебя саму как зовут? – спросила ее игуменья.

– Ирой.

– Вот между двумя Иринами я и загадаю на счастье, – благодарно кивнув проводнице и также вышедшей на перрон своей попутчице Ирине, сказала игуменья: – Я помолюсь за вас, девочки Ирины! Помолюсь! Господь услышит! – Она, кажется, хотела еще что-то сказать, но тут же налетели, как грачи, все в черном, встречающие ее насельницы, заговорили все разом что-то быстро-быстро, запричитали как будто от радости.

Ирине показалось, что причитали монашки не очень искренне, хотя при этом все и кристились.

«Просто я успела ее полюбить и ревную, – подумала Ирина.

– Ирина, пойдемте, – тронула ее за руку проводница Ирошка, и они вошли в вагон. Проводница подняла ступеньку, закрыла дверь, поезд тронулся, и стали медленно отплывать огни

станции с какой-то неоновой рекламой, перрон и удаляющиеся с него куда-то вниз насельницы и игуменья.

– Не бойтесь, я вас разбуджу, – сказала проводница, – поспите, вам еще два часа ехать.

– Спасибо, – поблагодарила пассажирка, прилегла на правый бок, смежила веки и задремала как-то само собой в покачивающемся вагоне, как дремала в покачивающейся детской коляске, и белая искрящаяся полоса света перечеркивала наискосок серую муть.

Ирина дремала, и виделось ей, как розовые облака заходят за Белые Карпаты: таинственное зрелище и довольно красивое. Раньше она никогда и не слышала, что есть на свете такие горы – Белые Карпаты. Оказывается, есть. Много, о чем мы не слышим годами, десятилетиями, а однажды и услышим, и увидим воочию. Розовые облака заходят за невысокие зеленые горы – и скоро наступит ночь. Спать, спать, спать – под стук колес...

В желтом сумраке плацкартного вагона кажется, все дремлют.

Иногда она приоткрывает веки и ей чудится, как сквозь желтоватую пластиковую обшивку вагонных стен проступают другие стены – старинного темного дерева с бронзовыми поручнями вдоль прохода и канделябрами, в которых горят свечи, – пламя их покачивается на стыках рельс и отбрасывает живые тени вокруг – тени, движущиеся в каком-то совсем другом времени и другом пространстве... Какое?

Кажется, это девятнадцатый век...

И, конечно, вагон первого класса.

«Нет-нет – это не “Анна Каренина”!»! Ни в коем случае! Хотя духами пахнет, но это, кажется, от меня. Наверное, другие люди не то вспоминают, а мне мерещатся повсюду литературные реминисценции – воистину, ученость наехала», – усмехнулась Ирина.

Под стук колес и мерное покачивание вагона дрема набирала силу и медленно переходила в сон. И снился Ирине свет, вернее, какие-то отрывочные размышления о нем: «Свет – это смысл. Свет – почти равен осознанию. Когда что-то проступает из темноты – только тогда мы можем воспринять его. Свет – это жизнь и рост. И красота. Это блеск и сияние. И цвет. Свет – наполняет нас. Луч света высвечивает самое важное. Свет – это мир, целый мир».

И вдруг ей показалось, что свет уходит из ее души. Как будто какая-то сосущая воронка образовалась в груди, и из нее со свистом и грохотом вытягивало свет, ее сокровенный свет. С каждым мгновением вытягивало все сильнее, сильнее, и вот он уже замелькал перед ее глазами, уносясь очень быстро – даже сквозь веки она отчетливо видела его летучее мелькание. С леденящим кровь ужасом Ирина открыла глаза – это пролетел мимо встречный поезд, с грохотом и мельканием света и тьмы.

– Господи, спаси и сохрани! – перекрестилась она, думая как-то сразу и о свете в своей душе, и об игуменье, и о юной проводнице. – Хорошая девочка эта проводница. Небось, сразу после школы пошла работать. Заботливая, а я даже в лицо ей не взглянула ни разу – действительно, все мимоходом, как сказала игуменья. «Мимоходом – двусоставное наречие. Обозначает обстоятельство образа действия. Отвечает на вопрос как», – почему-то промелькнуло в ее голове. Вся ее жизнь была в словах. Недаром в неполные тридцать лет она стала доктором филологических наук. Вспомнила, как счастлив был ее отец, как он гордился ею! Он и сейчас гордится, ее любимый папа, значит, она не зря старалась преуспеть. Его радость стояла свеч, – подумала она и тут же вспомнила, как в недавней лекции рассказывала студентам, откуда пошло выражение «игра стоит свеч» – из среды картежников, которые в прежние времена играли в карты при свечах. Свечи стоили недешево и покупались на долгий зимний вечер за общий счет игроков. Если ставки были маленькие, то получалось, что выигрыши не покрывали даже затрат на сгоревшие свечи, то есть «игра не стоила свеч».

– Не пьет, не бьет, – вдруг услышала она рядом и приоткрыла глаза: на боковой плацкарте сидели за раскладным столиком какие-то новые пассажирки – лиц она толком не разглядела.

– Чего тебе? Не пьёт, не бьёт, – назидательно говорила та, что постарше, той, что помоложе. – Сейчас многие женщины содержат свои семьи. Ну и что? Муравей, например, если ему надо, может тащить груз в три раза тяжелее самого себя.

Голос старшей показался Ирине знакомым, а младшая помалкивала.

Вдруг поезд стал явно притормаживать, и вошедшая в отсек проводница сказала ей:

– Ваша станция.

«Вот так всегда, – с улыбкой подумала Ирина, – только начнется самое интересное, и сразу – стоп, приехали!»

«Все счастливые семьи похожи друг на друга...» – вспомнила она машинально.

В полутемном тамбуре она мимоходом по-свойски пожала проводнице руку и, так и не взглянув ей в лицо, ступила на заснеженный ночной перрон своей станции.

8.IX.2022

Василий КОСТЕРИН. Ужин с палачом

(рассказ)

1870-й год. Франция. Париж. XI округ. По обе стороны rue de la Roquette знаменитые тюрьмы: Большая и Малая. На площади перед первой в день казни осуждённого строят эшафот и воздвигают на нём знаменитое изобретение острого и насмешливого галльского ума – гильотину. По окончании публичной казни машину и помост разбирают, увозят. Зрелище для народа и всех желающих иностранцев на этом заканчивается.

I. ОСУЖДЁННЫЙ И СЛУЖИТЕЛЬ

Fiat justitia et ruat cælum.

– Да, конечно, таковы правила. Вероятно, вы о них даже слышаны, – то ли спрашивал, то ли утверждал подчёркнуто вежливый Служитель.

– Что-то мерещится. Где-то читал. Но я не обращал внимания. Какой же нормальный человек думает, что его жизнь оборвётся таким манером! – он рубанул ребром ладони по спёртому воздуху.

– Так вот я вам официально сообщаю: поскольку вам вынесен приговор...

– Но ведь я не убивал!!!

– Теперь это уже не имеет значения. Апелляцию отклонили. Приговор вступил в силу, осталось привести его в исполнение. Пути назад нет. Смиритесь, и вам станет легче. Фемида поставила точку.

– Последнюю точку ставит палач!

– Хорошо, она лишь поставила подпись, – согласился Служитель.

– Подпись ставят конкретные люди, а не Фемида. Она же слепу не раз посылала на смерть невиновных, – упорствовал смертник.

– Как заместитель коменданта нашей тюрьмы я вам гарантирую, что мы со своей стороны вам во всём поможем, – пытался переменить тему Служитель.

– Поможете в чём? Оттяпать голову невиновному? Я же тысячу раз, а может, больше говорил и во время следствия, и на суде, что я не убивал их. Меня очень тонко, точнее, совсем грубо подставили, а Sûreté купилась...

– Ах, оставьте! Вы, вероятно, забыли, где находитесь? Напоминаю: c'est la Grande Roquette, la maison de dépôt pour les condamnés. Всё, о чём вы сейчас говорите, – не в моей компетенции. И вы думаете совсем не о том. Я предлагаю вам подготовиться к неизбежному грядущему, а вы упрямо стоите в минувшем. Оставьте прошлое, прокляните его, простите ему! Только не поддавайтесь. В мозгу есть такой переключатель. Щёлкните им.

– В мозгу, может быть и есть, а в душе и в сердце нет, – перебил Служителя за-ключённый.

– Попробуйте забыть о смерти. Наслаждайтесь, как будто у вас впереди целая вечность. О! Что это я изрёк? Ведь у вас впереди действительно вечность, без всякого «как будто». Если, конечно, вы на самом деле верующий человек. Думаю, что невиновный, но по ошибке казнённый, сразу идёт в рай. А сейчас обманите себя. Будьте уверены, ваше тело с готовностью поддастся. Оно будет с наслаждением принимать изысканную пищу! Это ведь не тюремная баланда, простите за жаргон, а ресторанный обед или ужин.

– Вы правы, но это правота жестокости, а не любви. Вам легко говорить. Так ли запели бы вы, окажись на моём месте.

– Опять вы не о том говорите и мыслите. Возможно, когда-нибудь я и окажусь в камере смертников. Русские щеголяют такой поговоркой: от сумы, да от тюрьмы не зарекайся – *on n'est jamais sûr de rien, ou bien dans la vie tout peut arriver*.

– Понимаю-понимаю: *Ne dis pas que tu ne mendieras jamais dans la rue et que tu ne pourras jamais finir en prison*.

– О, вы знаете русский?

Служитель округлил и чуть выкатил глаза. Приговорённый не ответил на вопрос. Он отвернулся и пробормотал под нос что-то невнятное:

– Всё моё возьму с собой.

Служитель не терял нить разговора.

– Сейчас речь не обо мне и не о русских, а о вас, о тебе, о-те-бе-э! Пойми и прими, – Служитель с лёгким, можно сказать, вежливым раздражением ткнул осуждённого в грудь указательным пальцем и, от нервного желания убедить непростого собеседника, незаметно для себя перешёл на «ты».

– Если речь обо мне, то я ни о чём другом и думать не могу. В моём мозгу вращается сверло одной мысли: я не виновен. В моей душе живёт одна молитва: Господи, я не убивал. Скажите, зачем мне было резать любимую жену и собственных детей? Да ещё та-ким диким способом!

– Я не присутствовал на суде, а с этим вопросом вы опоздали. И он не ко мне, я лишь исполнитель. Моё дело – тюрьма, а не суд. Вы же прошли через следствие и присяжных. Там надо было сопротивляться, что-то доказывать.

– Я криком кричал! Но это же разговор глухого с немым.

– И всё же, если вы перестанете цепляться за прошлое...

– Какое прошлое? Вы хотите сказать, что у меня есть будущее?

– Не придирайтесь к словам. Конечно, сейчас наступает самый важный момент в вашей жизни. *Chacun porte sa croix en ce monde*. Я не претендую на роль священника, но меня так воспитывали, что часы, минуты, даже секунды перед смертью – имеют огромное значение. Господь милостиво принимает покаяние самого закоренелого преступника, даже если оно сделано за миг до перехода в вечность. Вспомните благоразумного разбойника на кресте...

– И всё же вы немного священник, проповедник, *prédicateur*, pour ainsi dire.

– Нет-нет! Дело в другом: вы даже представить себе не можете, сколько приговорённых и сколько смертей видел я в своей жизни. Невольно, конечно. Такая уж у меня служба. Не дай вам Бог! Ныне мы можем подарить вам несколько часов жизни, последних прекрасных насыщенных часов и минут, которые вы будете с удовольствием растягивать, как мягкие тонкие пружины, как податливую резину. Вы будете наслаждаться. Вас будут ублажать самыми изысканными блюдами. По вашему желанию их доставят с других континентов: хотите из Канады или из Новой Зеландии. Или может быть, с русского Сахалина *ou bien de la péninsule du Kamtchatka* ... Что-то у меня сегодня всё Россия вертится на языке. Последнее желание приговорённого к смерти – для нас закон! Понимаете? Высший закон, и мы с удовольствием его исполним.

Вы можете заказать обед из лучшего парижского ресторана. У нас с ними договор. Это вам не бычок на прощанье выкурить.

– Да не могу я назвать своё последнее желание! И не хочу!

– Почему? Подумайте, извольте объяснить сами себе, почему?

– Оставьте эту приторную вежливость! Тошнит. И что тут объяснять? Не хочу, потому что оно последнее...

– Простите, но обычно смертник, извините за напоминание, с восторгом, радостью, надеждой называет свои пожелания.

– Какие, например?

– Ну, скажем, подымить дорожкой сигарой...

– Я не курю.

– Поднять бокал вина многолетней выдержки или заказать целый ужин, изысканные блюда...

– Ох-ох-ох! Вот тут возле изголовья вы пристроили для меня *les Saintes Écritures*. А в Библии говорится, если помните: «Не заботьтесь о том, что вам есть и что пить». Во всей жизни не надо заботиться. А Вы мне предлагаете в конце жизни, перед самой смертью позаботиться о чревоугодии. Набью брюхо как следует, точнее, как не следует, и с тяжёлым желудком и подташниванием – под лезвие, под нож. Вот уж удовольствие-то! Вот уж последнее желание-то! – осуждённый не скрывал язвительной иронии.

– Но я же сказал, что выполним любое ваше желание! Можете заказать что-нибудь лёгкое: устриц, салат из королевских креветок с базиликом, салат из горячего козьего сыра в хрустящем тесте и ветчины-гриль. Или *terrines de foie gras de canard mi-cuit*...

– Вы меня с ума сведёте. Полупрожаренная печёнка утки? В моём желудке? Простите за невольную рифму. И как вы себе это представляете: я, с полным желудком утиной печени, засовываю злополучную голову в гильотину... Кстати, голову-то вы потом приклеиваете как-нибудь? Для похорон-то? Всё же на Страшный суд я хотел бы с головой, а не только с телом. А до меня дошёл слух, что вы голову пристроите у меня между ног. Просто ужас какой-то!

– Пришьём, приклеим, присобачим, – Служитель опять не смог побороть раздражение, – но вы каждый раз поёте не о том! Теперь вы на будущем заикнулись. Что будет – то будет. А сейчас перед вами большой выбор. Напомню: любое самое редкое блюдо. Подумайте, что бы вы хотели: *salade de gésiers de volaille*...

– Салат из утиных желудочков? Нет, это не для меня!

– Уже лучше! Вы постепенно принимаете правила игры!

– Какой игры? Для вас моя казнь – игра?!

– Ну, тогда *cassolette de douze escargots, beurre d'ail*?

– Вы издеваетесь? Горшочек с двенадцатью улитками в чесночном масле? Меня вырвет, простите за подробности.

– А как вам куриные потрошка? Чем откликнулся ваш желудок при этих словах? Уж не говорю про пищевод.

– Оставьте ваш пожирательный натурализм Гаргантюа и Пантагрюеля. Меня вырвет, а не стошнит.

– Разница небольшая. Я навожу вас на мысль, что хорошо бы вам самим выбрать свои любимые или самые необычные блюда. Такие, о которых вы только мечтали, даже, может быть, никогда в жизни и не пробовали. Но мечтали вкусить, а? – Служитель сменял лёгкое раздражение на полужаметный налёт издевательства пополам с насмешкой.

– А у меня в голове – одна картинка: мне отрубают черепушку, а тело с набитым желудком шлёпается на помост, или куда оно там у вас падает-то? В ящик? Прямо в гроб? Как вам такая сценка? Не лучше ли с пустым брюхом?

– Наше дело предложить, ваше дело – отказаться. Не хотите – не надо. И если вам так уж интересно, скажу, что четыре тела в год мы выдаём гильдии хирургов на науч-ные цели.

– Ужас! Чтобы меня патологоанатомы или даже студенты искромсали на кусочки! Кошмар!

– Будем надеяться, что вас похоронят на кладбище.

– А где именно?

– На этом кладбище выделили специальный участок для казнённых. Там только безымянные холмики.

– И к чему такие меры?

– Почти у каждого знаменитого преступника есть масса почитателей и подражателей, они устраивали сходки у могилы смертника.

– Но ведь тогда захоронения можно перепутать.

– Не беспокойтесь, в кладбищенских документах все могилы пронумерованы. Ошибки быть не может. Через несколько лет гроб выдают родственникам для перезахоронения. Так что для начала вы полежите во временном пристанище без имени.

– ...Пристанище... без имени... временно, – эхом откликнулся приговорённый.

– Вы отвлекаете меня от главной темы. Насколько я понял, в предсмертный вечер вы предпочитаете остаться в своей камере в одиночестве. Тоже выход, – Служитель устало подвёл итог разговора и встал вполоборота к двери.

– Пойдите-пойдите! Зачем же так сразу?! А другие смертники, какие желания заказывали?

– К чему вам это?

– И всё же...

– Ну... чаще всего дорогой обед, вино, сигары...

– А что-нибудь необычное? Не тривиальное?

– Ну... один художник попросил, чтобы ему в камеру на всю ночь принесли картину Делакруа из музея.

– И принесли? – впервые за время диалога в голосе приговорённого прорезался живой интерес.

– Конечно, на то оно и последнее – это желание. Правда, ему доставили хорошую копию.

– Предсмертное надувательство, значит. А ещё?

– Да вы над своим пожеланием подумайте. К чему Вам чужие, заимствованные?! Не надо повторяться.

– Вы правы опять. Не надо подражать, повторять. Repetitio est mater studiorum, то есть повторенье – мать ученья. А я бы сказал: повторенье – мачеха ученья: repetitio est poverca studiorum. Хотя какое тут ученье? Умереть по-человечески? Но под гильотиной, как ни готовься, по-человечески не умрёшь. Уж лучше бы плаха да топор. Это как-то гуманнее. Живой палач. Менее механично, что ли. Как вы там её любовно называете: mad-ame Guillotine, la Veuve или Дева, Дама, Национальная бритва, Мебель правосудия, Луи-зетта? А Луизетта потому, что Луи XVI подписал указ об использовании гильотины для смертной казни, а через год с небольшим сам просунул шею под её барашек? Надо же! И тут придумали ласковое название. Для тяжеленного убийственного лезвия. И гребень волны – барашек, и тут опять он... Кстати, Вы всерьёз сказали о Новой Зеландии?

– Серьёзно, конечно.

– Но ведь на пароходе от Марсея или Бреста это несколько месяцев пути туда-обратно. И так Вы продлите мне жизнь! А если корабль утонет и пошлют новый, то...

– Размечтались! Это с одной стороны, хорошо, что воображение проснулось и за-работало. Значит, скоро родится последнее желание. Я говорил о лучших ресторанах Парижа. Там всё есть. Через час-два стол будет накрыт.

– То есть выбора практически нет. Ужин, вино, сигары – вот и весь ваш нехитрый ассортимент, – не без ехидства констатировал смертник.

Они помолчали. Один терпеливо ждал, косясь на дверь, другой разглядывал опостылевшие стены своего наихудшего жилища в земной жизни.

– Есть желание! – вдруг оживлённо воскликнул приговорённый. – Последний вечер я хочу провести с нашей королевой, с императрицей Евгенией !

– Помилуйте, последнее желание должно оставаться в пределах разумного. Вы же это понимаете. Вам дали свидание с роднёй. Вы провели с ними целый час. Кстати, это не входит в последнее желание. Будьте же разумны. Теперь осталось конечное, финальное, так сказать, пожелание. Обычно это праздничный ужин. Некоторые просят и завтрак. Впрочем, это всё не имеет значения: Impératrice Eugénie более не является нашей королевой, в начале сентября она навсегда отбыла в Англию.

– Как жаль! Тогда... ужин с королевского стола! Пусть без королевы. К тому же её никто не отпустил бы из дворца. А вы не могли бы составить мне компанию.

– Увы, нет! Однако, по вашему желанию, можете поужинать с палачом.

– С кем, с кем? С каким палачом?

– С вашим, – Служитель развёл руками, дескать, ничего не поделаешь, таков режим, таков закон – *dura lex, sed lex* .

– С моим? Но это же садизм! Или мазохизм? *La belle France* и такие дикие нравы?!

– Видите ли, вы имеете право заказать ужин с королевского стола и поесть в одиночестве. Если же хотите – только если хотите – компанию Вам составит палач. Не думаю, что ему нравится ужинать со своей завтрашней жертвой, но, ещё раз скажу, таков порядок. Если не один, то только с палачом. Кстати, как мне шепнул на ушко один знакомый мастер заплочных дел, для него это такая же болезненная процедура, как и для вас.

– Да уж! Для меня исполнение моего собственного предсмертного желания оборачивается наказанием. Хотя я ведь сам его выбрал. Пусть будет палач...

Перед тем, как заснуть, смертник живо представил себе завтрашнюю встречу, и один вопрос замучил его до горячки и до дрожи: пожать руку собственному палачу перед ужином или нет. Пожать? И тем самым как бы одобрить своё собственное убийство. Ведь этой рукой он завтра сделает, что называется, «секир-башка». Убрать ладонь за спину? Обидеть палача, а он ведь только исполнитель, и я сам, можно сказать, пригласил его на странный ужин. С этими сомнениями приговорённый уснул, с ними и проснулся.

II. ПАЛАЧ И СМЕРТНИК

*...Высокий человек в круглой шляпе, белом галстуке,
в лёгком пальто, накинутом на плечи,
отдавал вполголоса приказания... То был палач.*

И. Тургенев

Осуждённый был поражён видом вошедшего. Кстати, как они должны быть одеты? Завтра-то понятно: в рабочей одежде. Фартук, наверное, колпак на голове с прорезями для глаз, широченный балахон... Хотя теперь всё это вроде не нужно.

Перед приговорённым стоял высокий угловатый худой человек во фраке. Лет пятидесяти пяти. Манишка в свете многочисленных свечей блистала до рези в глазах. И бабочка! Необычной формы, похожая на распластанную тёмно-серую лягушку, то ли подпиравшую подбородок, то ли пытавшуюся укусить за него. У вошедшего были невыразительные полуотсутствующие глаза. Иногда он пытался со вниманием взглянуть на завтрашнюю жертву, но интерес тут

же пропадал, и глаза опять с равнодушным неприятием смотрели в скованное пространство камеры.

Телосложением он смахивал на ходячую гильотину, олицетворял собой эту машину, словно она вошла в его плоть и кровь, стала его скелетом и вторым я. Даже нос напоминал угловатое лезвие, отсекающее голову. Может быть, даже и фамилия у него такая же, как у изобретателя инструмента для обезглавливания? «Кстати, Гильотен был врачом, – вспомнил приговорённый. – Хорошенькая придумка родилась в голове эскулапа! Вместо того, чтобы лечить людей, например, от головной боли, доктор догадался, как им удобнее лишаться головы насовсем. После такой мгновенной операции она уж точно никогда не заболит».

Гость деловито прошёл к столу, постукивая подковками штиблет, украшенных плоскими блестящими чёрными пуговицами. Смертник напряжённо следил за его правой рукой. Однако Палач без церемоний первым присел на стул и приглашающим хозяйским жестом левой руки предложил завтрашнему клиенту занять место напротив. За ужином хозяин быстро понял, что палач – левша, так что он следил не за той рукой гостя.

Тюремная камера медленно заполнялась самыми непривычными запахами. Многие блюда источали душистый парок, но и накрытые кастрюли сквозь узкие щёлки выпускали из себя целую симфонию вкусовых ароматов. Для гурманов. Гость сделал ещё один жест, и оба, молча, застучали крышками, тарелками, ножами, вилками. Звон бокалов дополнял эту какофонию мелодичными хрустальными звуками.

– Никогда в жизни не вдыхал ничего аппетитнее, – решил прервать молчание приговорённый.

– Я тоже. У простого служащего – откуда возьмутся такие деликатесы?! – Палач говорил с еле заметным эльзасским акцентом.

– Значит, вы имеете право со мной разговаривать, общаться? Это то, что нужно. Только не кривите душой («если, конечно, она у вас имеется в наличии», подумал он про себя), вы очень даже непростой служащий. Не зря же вас называют Monsieur de Paris. Единственный в своём роде. Да и служащий ли вы? Кстати, кому служите?

– Отвечаю по порядку. Во-первых, почему бы мне не поговорить с вами? О нашем tête-à-tête никто никогда не узнает. Всё, что вы скажете, всё, что скажу я, останется в вашей отсечённой голове. Простите за неловкое напоминание. Конечно, наша беседа войдёт в мою память, *mais je tiendrai ma langue*, я умею держать язык за зубами. А у нас в Эльзасе говорят так: *Zum einen Ohr rein und zum anderen Ohr wieder raus*. Тоже вариант.

– Я слышал чуть по-другому: *Zum einen Ohr hinein und zum anderen Ohr wieder hinaus*.

– Во-вторых, – продолжил человек с матерчатой в крапинку лягушкой на шее, не обратив внимания на реплику завтрашнего клиента, словно тот обязан был знать немецкий язык, – палачи бывают разные. Один просто считает головы, как кочаны капусты, и гордится тем, что отсек четыреста одну буйную головушку. Мировой рекорд, так сказать, и золотая медаль. Другой скопил столько денег, что купил пивной бар в Манчестере, третий перебивается с хлеба на квас...

– И вы туда же! Это же русская поговорка. А меня ими ещё вчера перекормили. Какой квас во Франции?!

– К слову, к слову пришлось. Видите ли, мой приятель и журналист показывал мне русских знаменитостей. Посмотреть на мою работу приезжали из России: лет тринадцать назад – *comte Tolstoï*, а в январе нынешнего года – *monsieur Tourguénieff*. С ним меня даже познакомили, – Палач поправил бабочку и она стала ещё больше похожа на распластавшуюся в пруду лягушку.

– Помощник коменданта рассказывал мне, – поддержал тему приговорённый, – что *monsieur Tourguénieff* в компании журналистов приехал в тюрьму ещё с вечера и дремал

до утра, до самой казни. А когда лезвие барашка с лязгом ухнуло вниз, он отвернулся. Зря мучился всю ночь: так и не увидел того, ради чего приехал.

– Вот куда их завело писательское любопытство! Или тщеславие? Не знаю. На-хватался я всего понемногу, но ничего, кроме гильотины, как следует не знаю. Так вот: отвечая на ваш вопрос, скажу, в-третьих, что я служу государству и правосудию.

– Вы не слишком-то мягко говорите со мной, – с деланным равнодушием про-мямлил осуждённый.

– J'appelle un chat un chat . Надо же вас как-то готовить к суровой правде жизни и смерти. А я забываюсь. Жена всегда просит, когда я ухожу на праздничный ужин, быть поласковее с приговорённым.

– Как? У вас есть жена?

– Чему Вы удивляетесь?! Я же просто служащий. Между прочим, для нас самое трудное – найти супругу. Никто не хочет выходить замуж при такой профессии. Только если дочь коллеги по работе или оставившая древнейшую профессию мадама.

– Может быть, у вас и дети имеются?

– А как же без этого? Даже двое: мальчик и девочка.

– Но вы же, простите, палач!

– А для чего, скажите, мы надевали раньше этот дурацкий островерхий колпак?! И кто доподлинно знает, что я палач. Только избранные. Конечно, все догадываются, что я рублю головы и посматривают на меня с опаской, боязнью и презрением. Но ведь вслух об этом никогда не скажут. К тому же это раньше мой отец работал топориком на плахе, а теперь за верёвочку потянул или рычажок повернул (разные есть конструкции для осво-бождения защёлки), и сорокакилограммовый барашек скользит вниз! Смазки я ни для ко-го не жалею. И теперь скажите, я-то тут при чём? Я же только рычаг поставил в другое положение. Может быть, по неосторожности. Ма-а-а-аленький такой рычажок. Тело сразу проваливается в ящик, а голова летит в корзину! Иногда просят достать её и показать на-роду. Берёшь за волосы и демонстрируешь, стараясь не забрызгаться. Говорят, голова не-сколько секунд что-то видит, с миром прощается. Да вот ещё кровь стекает по фаянсовому лотку... Прямо в канализацию. Между прочим, раньше показывал, держа за волосы, а те-перь ведь перед казнью наголо стригут. Так что приходится за уши поднимать. И всё же – я тут ни при чём, – Палач потёр ладони, словно умывал руки, как Пилат.

– А вам, вижу, очень хочется остаться ни при чём!

– Думаю, всем хочется. Кстати, в Америке в этом смысле – сплошное лицемерие. У них – электростул . А палачей четверо или трое! Точно не знаю. Перед ними рубиль-ники. Четыре, к примеру. Один из них настоящий, а остальные фиктивные, то есть отключены. Посадили смертника на стульчик, привязали (он же будет дёргаться под током). Им скомандовали, они врубили, и нет человека. А кто именно убил, – как бы не знают. Главное, совесть чиста. Каждый думает на другого, на соседа. А искорка-то выскочила только одна, из одного рубильника. Он и видел её, и как бы не видел. Так в глазах что-то мелькнуло. И остальные вроде бы не заметили. Потому что в следующий раз искра выскочит у другого. Может, в тот момент зажмуриваются. Вот и спят потом спокойно. Уж лучше как у нас, у французов, по-честному. Сравните электростул и гильотину и поймёте особенности национального характера америкосов и французов.

– Не знаю, почему меня так поразила мысль, что у вас есть дети, – задумчиво произнёс приговорённый, почти не слушая рассуждений про америкосов. – Мне каза-лось, что вы не имеете права на это. Получается, одной рукой вы убиваете людей, а дру-гой – делаете детей...

– Рукой ребёнка не замастыришь, – хмыкнул Палач впервые за время торжест-венного ужина и низко склонился над тарелкой.

– Да-да, я неуклюже выразился. И они пойдут по вашим стопам, возможно... – смертник повесил грустную голову, задумался.

– Мой отец и дядя были палачами и знаменитыми мастерами своего дела. Папаша рубил головы не только в Париже. Наберётся несколько мешков отсечённых голов, считая от Лилля на севере до Марселя и Тулона на юге, от Бреста на западе до Страсбурга на востоке. И у него всё было своё. Когда назначали казнь и приглашали отца, он не только топор, он и плаху свою привозил в карете. Про костюм я уж молчу.

– Вы словно гордитесь отцом.

– Я горжусь не столько отцом, сколько профессией. Между прочим, профессию палача примерял на себя даже русский царь Pierre le Grand. Он собственноручно рубил головы стрельцам на Красной площади! Царь! А мне-то, грешному, тем более дозволи-тельно. Кстати, сравните с нами, потом с америкашками и увидите, что мы имеем дело с третьим национальным характером. Между прочим, царь бывал в Париже.

– Не могу себе представить ни одного европейского короля в роли палача. Так, чтоб без маски, с открытым лицом, с засученными рукавами и топором в руках. А вы точно не выдумываете?

– Зачем же? Какой-то их художник даже картину написал на эту тему. Я просто для примера. Отцом горжусь, конечно. Я уже не тот. Гильотина испохабила профессию истинного палача. Правда, гильотинный нож наточить – тоже непросто. Он ведь идёт наискосок. Всё же за верёвочку дёрнуть, рычажок повернуть, заглушку вынуть или рубильник включить, как уапнее додумались, и дурак сможет. А вот умную голову топориком отсечь с одного раза, чтоб чисто и культурно, – это профессия. Родитель рассказывал, что однажды богатенький клиент через родственников вручил ему энную сумму, чтобы отец постарательнее подошёл к своему делу: наточил топор, как бритву, правильно расположил голову на плахе, сосредоточился и тукнул так, чтоб голова отлетела в момент, и казнимый не мучился. А то ведь бывало (только не у отца), что с первого раза не получалось, тогда рубили и по второму и по третьему разу. А знаменитый Jack Ketch в Лондоне мог специально затупить и зазубрить лезвие топора, чтоб не получилось с первого раза, и жертва кровью обливалась и муки терпела. Изувер, к тому же больной, что с него взять! Давно это было, лет двести назад. Кстати, перед нами четвёртый вид национального характера... Так вот, про отца: он, разумеется, не хотел брать денег, потому что всегда относился к своей работе с полной ответственностью. Настоящий профессор в своём деле. Но тут бес попутал, и взял денюжку. Наточил топор, как бритву, примерился и рубанул. Смертник слышит звук топора по плахе и спрашивает отца: «Что? Уже всё?» «Всё!» – отвечает отец, довольно потирая умелые руки. «Почему же я ничего не чувствую?» «А ты кивни», – самодовольно улыбнулся папаша.

– Этот анекдот я в газете читал несколько лет назад. Почему-то запомнился, – приговорённый поморщился и потёр шею двумя руками, – правда, когда прочитал его в газете, улыбнулся.

– Вот-вот! Именно запомнился, именно улыбнулся, – словно обрадовался Палач. – Только вы до сих пор не поняли, почему. Теперь-то у вас глаза раскрылись?

– Не может быть!

– Да-да-да! Вы уже тогда, не зная того, начали готовиться к гильотине. Я же только привожу приговор в исполнение, – с одобрительной улыбкой подтвердил Палач.

– Но вы убиваете людей!

– Я не убиваю, я только ставлю точку после объявления приговора. Убивают судьи, присяжные. К тому же не людей, а преступников!

– Но я невиновен, вы же знаете.

– Луи XVI, стоя на коленях перед гильотиной, созерцая железную раму и поднятый до упора барашек, тоже говорил, что невиновен.

– Но я действительно не убивал.

– По неписаному этикету сегодняшнего прощального ужина я не должен спорить с вами. Это ваш праздник, и у меня строгие инструкции: ни в коем случае не портить его вам. Я согласен, вы невиновны. Правда, я не был на заседании, к тому же теперь поздно говорить об этом.

– Очень остроумно вы сказали о «празднике»... Интересно было бы узнать стати-стику: сколько невиновных наберётся в сотне действительных преступников.

– Думаю, не больше десятка, – задумчиво проговорил Палач, заталкивая в рот аппетитный кусок сочного мяса с грибами, сыром и сметаной.

– И вы так спокойно говорите об этом? – приговорённый шлёпнул правой ладо-нью по левой коленке.

– Простите, я могу уйти. Вы сами попросили меня разделить с вами ваше предпоследнее одиночество, – Палач выжидательно уставился на свою жертву, как бы готовясь поднять из-за стола свою прямоугольную фигуру.

– Да-да, я не в себе. А нет ли у вас фотографии ваших чад?

– Я простой человек, только слышал такое слово, как психология. И вот история повторяется. Все осуждённые, с которыми я ужинал, просили показать дагерротипы моих детей. Поэтому я принёс. И не ошибся. Странно, что приговорённые долго и внимательно разглядывают лица моих детей. Иногда и жены. Что они там хотят увидеть? Вот и вы туда же.

– И я туда же, – машинально повторил смертник, – впрочем, может и не туда...

III. СЛУЖИТЕЛЬ И ПАЛАЧ

*Убийство по приговору несоразмерно ужаснее,
чем убийство разбойничье.*

Ф. Достоевский

Кому первому пришла в голову эта странная идея? Хотя не более странная, чем праздничный ужин с собственным палачом в канун казни. Предложение, скорее всего, пришло всё же от тюремного Служителя. Но Палач так охотно и быстро согласился встретиться, словно сам подумывал о желательности такого свидания.

И вот они сидят друг перед другом и не знают, с чего начать.

– Много преступников прошло через мои руки, но одного я так и не могу забыть. Прошло около трёх лет после его казни, а у меня всё свежо в памяти, словно это случилось вчера. Что-то щемящее было в его поведении, в его смерти. Он выглядел ягнёнком, приносимым в жертву. Хорошо, хоть не снится по ночам, – решился прервать неловкое молчание Служитель и, достав из наружного бокового кармана L'Écho de Paris, бросил газету на стол.

– Я так и думал, что речь пойдёт о нём. Когда мы ужинали, он очень мало ел. Я спросил, почему. А он ответил, что боится расслабиться и заснуть, тогда как он собирался бодрствовать до рассвета, – Палач с усилием потёр обеими ладонями узкий прямоуголь-ный лоб снизу вверх и слева направо, словно разглаживая узкие, но глубокие борозды морщин, давно ставшие привычными для кожи.

– Да, мне показалось, что он набожный человек. Только не знаю, когда пришло к нему благочестие. Не в тюрьме ли? Он просил священника прибыть на час раньше и долго исповедовался, а за день до того провёл со священником часа четыре, – Служитель завёл глаза к низкому осеннему небу, и оно, дымчатое, отразилось в его светло-серых глазах. – В разговоре с ним однажды выяснилось, что наши бабушки, его и моя, – русские. Возможно, они были даже знакомы: обе были вхожи в салон писательницы comtesse de Ségur, урождённой Софии Фёдоровны Ростопчиной, дочери знаменитого генерал-губернатора Москвы, которого обвиняют в сожжении первопрестольной. Казнённый неплохо говорил по-русски. Бабушка приложила руку к его воспитанию. А я свою не помню.

– Он знал и немецкий... Между прочим, я всегда был против смертной казни, – внезапно сменил тему Палач. – Мне пришлось привести в исполнение более двухсот приговоров. Столько раз я вынимал заглушку и косой безжалостный нож падал на беззащитную шею. И голова отваливалась, как перезревшая дыня. Больше всего мне запомнились именно шеи: толстые, бычьи, как говорят, или же худые, тощие; напряжённые, полные страха или расслабленно-обречённые; нежно-белые или тёмные, волосатые, покрытые красным загаром. И ещё плечи! У многих они дёргались, словно приговорённый то и дело недоумённо пожимал плечами, иногда ходили ходуном в предчувствии лязга ножа и отделения от плеч этого кладезя премудрости, который довёл человека до высокого эшафота.

Палач резко замолчал, перевёл дыхание и оглянулся вслед за Служителем, который с самого начала встречи то и дело поглядывал по сторонам, стараясь это делать непринуждённо, вскользь.

– Да, я никогда не любил следить за казнью и никогда не понимал парижскую чернь, которая толпами собирается на площади перед нашей тюрьмой, – небрежно прервал молчание Служитель.

– Так вот, я много раз говорил, что смертная казнь не достигает своей цели. Почти двести раз я смотрел им в глаза и лишь один раз увидел в них страх. А что я в них читал? Обречённость, суровое спокойствие, улыбчивую лихость, браваду, вызов, гордую независимость, религиозную восторженность в предчувствии главной Встречи – со Спасителем. Но не раскаяние. И не животный страх...

– Да, ещё лет сорок назад об этом писал Victor Hugo. Его *Le dernier jour d'un condamné* я перечитал несколько раз. А если посмотреть на казнь с другой стороны, – подхватил Служитель, – то видно, насколько развращающе она действует на народ. Одни приходят на площадь из любопытства, но у большинства какое-то болезненно-радостное настроение. Что они предвкушают? Вот сейчас лишат жизни преступника, убийцу? Но ведь он человек! А если невиновного? Ведь и такое случается. Или же они радуются, что вот убили его, а не меня? На днях после казни зрители – именно зрители, как в театре или в цирке – устроили хоровод вокруг гильотины, при этом пели и танцевали с хохотом и непотребными выкриками. Как это ни удивительно, но смертная казнь становится у черни обильным, неистощимым источником для шуток и острот. Так они заглушают в себе страх перед ожидающей их гильотиной. Нет, от смертной казни только вред, как ни посмотри. По крайней мере, от её публичности. Тут я согласен с вами. И ещё меня поражает такой факт: приезжают на казнь писатели – и наши, и из далёкой России. А один английский журналист рассказывал мне, что лет тридцать назад во время казни в Лондоне François Courvoisier, нашего соотечественника, лакея, убившего и ограбившего своего хозяина (это был lord William Russell), многие видели в толпе перед тюрьмой таких знаменитостей, как Charles Dickens и William Thackeray. Писатели пришли посмотреть на живую картину: беспомощный человек со связанными сзади руками болтается и дрыгается в петле. Они сделали вид, что не заметили друг друга. À propos, давно уже предложили перенести казнь с площади во внутренний двор тюрьмы и совершать её лишь при самых необходимых свидетелях, но кто-то там, – Служитель поднял вверх кривоватый указательный палец, – тормозит это дело. Уверен, если отменят публичную казнь, найдётся немало недовольных.

– В Лондоне уже два года совершают казнь не на площади, как раньше, а во дворе Ньюгейтской тюрьмы, – показал свою осведомлённость Палач.

Они замолчали, словно всё уже было сказано, и цель встречи достигнута. Не глядя друг на друга, они озирались по сторонам. Причём Палач с той же небрежностью повторял движения Служителя. В чашечках остывал кофе, они едва пригубили напиток, как будто это было дорогое вино, а они его не спеша смаковали, дегустировали. Кафе оставалось пустынно. Платаны роняли последние остроконечные листья, похожие на кленовые, только не красные или бордовые, а жёлтые с зелёными прожилками или совсем коричневыми. Мощные стволы, сбрасывали

платье, и под ним оказывалась не плоть, а подпорчен-ные, покрытые пятнистыми лишаями скелеты. Служителю подумалось, что лучше бы они встретились на другой стороне улицы – под каштанами, а не среди нависших полуголых великанов.

Задумчивое молчание прервал Палач.

– Я слышал, что у вас есть знакомые или приятели в жандармерии, в полиции и даже среди судебных следователей, *vous avez le bras long* . Уверен, что вы знаете гораздо больше меня. Не поделитесь? – он пытался скрыть интерес и нетерпение, но постоянное поёживание, лёгкое, почти незаметное подёргивание плеч выдавали Палача.

Служитель приосанился, он словно почувствовал своё значение в этой непривычной связке с палачом. Кто только ни писал об этом сверхгромком деле: *Le Petit Parisien*, *Journal des Débats*, *Le Petit Journal*, даже *Le Moniteur universel*, *Figaro*, *Le Temps* или совсем недавно родившийся *Le Siècle* . Однако заместитель коменданта в курсе некоторых деталей помимо тех, что поведали вездесущие газетчики.

Служитель немного свысока улыбнулся, зачем-то чуть заметно поёжился, повторяя движение Палача, и разгладил газету.

– Дело было так, – начал он говорить о главном, откровенно важничая. – Представьте себе маленькую гостиницу на берегу Сены. Наверху всего четыре комнаты, по две на каждой стороне коридора. Справа № 4 и 3, слева – № 1 и 2. Первая и четвёртая у самой лестницы, а третья (комната трагедии) и вторая – в глубине коридора. Внизу комнаты для семьи хозяина и ресторанчик. Если подняться по лестнице, то направо перед нами номер 4, в котором проживал бородатый человек, назвавшийся портовым служащим, а налево (№1) – нелюдимый подозрительный тип, приходивший в гостиницу только на ночь. Ещё одну комнату занимала семья: муж, жена, пятилетняя дочка. Дверь нашего героя вторая справа (№3). Окна выходят во двор. Он приехал с женой и двумя детьми. Старший – от первого брака супруги, младшенький – его. Утром жену и детей, двух мальчиков, нашли убитыми. Он же спал непробудным сном. На одежде кровь полосами так, словно об неё вытирали орудие убийства. Под окном соседнего номера (№ 4) в цветах нашли скомканный платок; видно было, что им тоже вытирали кровь с лезвия. Орудие убийства не нашли. Видно, убийца унёс его с собой.

– Неужели полицию ничего не насторожило? Я не следователь, но какой же идиот будет убивать жену и детей, а потом вытирать нож о собственную одежду и засыпать на месте преступления? И орудие преступления не нашли. А платок-то его под чужим окном оказался? – Палач засыпал Служителя вопросами.

– Полицию многое насторожило. Вы верно отметили именно то, на что следователи сразу обратили внимание. Кроме того, по свидетельству родных и знакомых семья жила дружно и в любви. Сначала Он и Она были соседями по лестничной клетке. Потом у женщины из плавания не вернулся муж-морьяк. Корабль пришёл в порт, но без него. По свидетельству капитана и всей команды её мужа смыло волной во время шторма. Поговаривали, что на самом деле он, скажем мягко, провинился перед командой, причём настолько, что его просто высадили на необитаемом острове: без воды, без еды, без оружия, без одежды. Жестоко, но говорили, что он это заслужил. В общем, «*Robinson Crusoe à contresœur*» . Вот что сделали из него, – показал свою начитанность Служитель.

– Кстати, боцмана Селькирка, прототипа Робинзона Крузо, команда тоже высадила на необитаемом острове, правда, оставила ему оружие, одежду, еду и даже семена злаков, – не уступил собеседнику пальму первенства Палач.

– Интересно. Однако не будем отвлекаться. После пропажи мужа-морьяка наш герой (будем его так называть) женился на соседке, усыновив её старшего сына. Позже родили своего. Официальная версия относительно убийства состояла в том, что он надрался до невменяемости – от него за версту несло джином – и в порыве ревности или чего-то такого похожего зарезал жену и детей. Смущало, конечно, то, что он убил и сыновей. Но и тут нашлась вер-

сия: возможно, она ему изменила, и второй ребёнок тоже не его. Об этом он нечаянно узнал и отомстил.

Служитель пока передавал всё то, что Палач знал из газет.

– Вначале подозревали всех. Но никто ничего не видел и не слышал, то есть алиби ни у кого не было. Кстати, проверили и хозяина гостиницы. Но скоро выяснилось, что убитая женщина – его невестка, бывшая жена пропавшего несколько лет назад моряка. Подозрительный сосед из № 1 слышал, как у бородача позвякивали в пакете бутылки, когда он возвращался домой. Две бутылки джина, пустые, полиция нашла через несколько дней, когда бородач уже уехал. Никто не обратил внимания, что обросший человек в ресторанчике не раз заказывал именно джин.

– А платок-то, платок? – не унимался Палач.

– Ах, да! На платке нашли инициалы подозреваемого. Вышитые. Страшная улика. Решили, что он из окна хотел выбросить его подальше, но тот спланировал прямо под соседнее окно, – Служитель машинально погладил газету.

– И всё же он не был похож на человека, способного поднять руку с ножом на ребёнка. Тем более, что, как выяснилось, убиты они были британским кортиком, и раны на теле были страшные, – Палач неплохо разбирался в оружии.

– Они поженились через год, после того, как она лишилась мужа. Приёмному сыну десять лет, а младшему – четыре.

– Я не могу понять полицию. Ведь нынче, когда всё выяснилось, смотришь на всё по-другому. Стало видно, где они не доработали, где пошли по широкому пути одной версии, основанной лишь на предположениях и допущениях. Никаких свидетельств о ревности, а версия убийства на почве ревности становится главной. Орудие убийства, причём редкое, не нашли, а все родственники говорят в унисон, что у него никогда не было холодного оружия, он даже побаивался его. Страховой агент, что с него взять?! Или: никаких доказательств, что младший ребёнок не его, не имеется, а фантастическое предположение рассматривается, как версия. А ведь мне пришлось лишить его головы, – Палач с самого начала был настроен против полиции.

– Несчастный человек! Несчастный! Не забыть мне его глаза, когда он, глядя в небо, точнее, в потолок тюремной камеры шептал одно и то же: не убивал я! Так просто, без подробностей. Как будто твердил, что не нарушал я заповедь «не убий». Остальное его словно не волновало.

– Всё же давайте вернёмся к трагическому финалу. Вы ведь знаете его в деталях? – Палач произнёс это утвердительно-вопросительно.

Служитель продолжал оглядываться, как будто ждал кого-то. Палач заметил это несколько нервное движение головы вправо и влево, так что белый воротник натягивался с одной стороны, а на шее появлялись кожные складки, уходившие за крупный кадык.

– Вы кого-то ждёте? – не выдержал Палач.

– Да, не буду скрывать. Я пригласил и кюре, который исповедовал нашего подопечного. Но, видимо, это не опоздание, и он уже не придёт. Сюрприз, увы, не получился.

Но именно в этот момент к ним медленно и неслышно, словно на цыпочках, подошёл кюре.

IV. ПАЛАЧ, СЛУЖИТЕЛЬ И КЮРЕ

Я видел много ужасов на войне и на Кавказе, но если бы при мне изорвали в куски человека, это не было бы так отвратительно, как эта искусная и элегантная машина, посредством которой в одно мгновение убили сильного, свежего, здорового человека.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.